



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	Негидальцы : язык и фольклор
Author(s)	Хасанова, Марина; Певнов, Александр
Relation	Марина Хасанова, Александр Певнов ; предисловие Тосиро Цумагари = Marina Khasanova & Alexander Pevnov ; with preface by Toshiro Tsumagari = マリーナ・ハサノワ, アレクサンドル・ペヴノフ 採録・訳 ; 津曲敏郎 序文, Мифы и сказки Негидальцев = Myths and tales of the Negidals = ネギダルの伝説と民話. [Project "Endangered Languages of the Pacific Rim", Faculty of Informatics, Osaka Gakuin University], 2003, vi, 297. (文部科学省科学研究費補助金特定領域研究. 環太平洋の「消滅に瀕した言語」にかんする緊急調査研究) (ELPR publication series, A2-024) (ツングース言語文化論集, 21)
Citation	ツングース言語文化論集, 21, 228-286
Issue Date	2003-02
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/57373
Type	report
File Information	11NegidalsRu.pdf



НЕГИДАЛЬЦЫ: ЯЗЫК И ФОЛЬКЛОР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕГИДАЛЬЦАХ

Негидальцы – одна из самых малочисленных (наряду с ороками и орочами) народностей тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Их самоназвания: *эмһун бэйэнин* ‘амгунец’, *елкан бэйэнин*, *нā бэйэнин* ~ *нā бээн*. Последний этноним весьма условно можно интерпретировать как ‘местный человек’. Русские старожилы зовут всех жителей Нижнего Приамурья *гиляками*. Подавляющее большинство негидальцев проживает на Амуре недалеко от устья Амгуни и на р. Амгуни, левом притоке Амура. До начала 40-х годов XX столетия негидальцы в основном расселялись в среднем и нижнем течении Амгуни. По официальной статистике 1989 г. их 622 чел., из которых 502 живут в Хабаровском крае [Национальный состав населения, 1991, с.22, 52].

По данным Б.О.Долгих, в XVII в. негидальцев было 390 чел. [Долгих, 1960, с.603]; в середине XIX в. Н.К. Бошняк приводил цифру 351 чел. [Бошняк, 1859, с.331]; согласно С.К. Патканову, в начале XX в. негидальцев насчитывалось около 400 чел. [Патканов, 1912, с.933-934]; К.М. Мыльникова и В.И. Цинциус в 1926-1927 гг. определили их число в 371 чел. [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.108]; А.Н.Липский в 1925 г. писал, что негидальцев не более 400 чел. [Липский, 1925, с.XIX]. Таким образом, начиная по крайней мере с XVII в. можно говорить о количественной стабильности негидальцев.

К настоящему времени их численность мало изменилась. По нашим сведениям, собранным в районах проживания негидальцев в 90-х годах XX в., их было чуть более 350 человек. “Низовская” группа составляет около 200 человек, “верховская” – примерно 150. Согласно статистическим данным администрации Хабаровского края, этнос насчитывает несколько более 400 человек. Понятно, что несмотря на экстремальные условия, в которые наряду с другими народами Севера начиная с 30-х годов (коллективизация, неоднократные принудительные переселения) были поставлены и негидальцы, их численность фактически не падает, остается стабильной в течение по крайней мере двухсот лет.

Между тем, по оперативным данным Хабаровской администрации, негидальцы – единственный этнос в крае, дающий за последние годы “отрицательную динамику развития”. Казалось бы, цифра превышения смертности над рождаемостью среди негидальцев в последние годы невелика (4 человека), но это первый симптом неблагополучия, который заставляет задуматься как североведов, так и власть.

Основными занятиями негидальцев всегда были охота и рыболовство. В этнографическом и лингвистическом отношениях негидальцы разделяются на две группы: так называемую “низовскую” (низовья Амгуни, Амур) и “верховскую” (среднее течение Амгуни). “Верховская” группа по многим

признакам стоит ближе к эвенкам, “низовская” же – к коренным народам Нижнего Амура.

Первые сведения о реке Амгуни и ее жителях начинают проникать в Россию в XVII в. Вопреки распространенному мнению об этнониме “негидальцы”, якобы впервые встречающемся у А. Миддендорфа, И.С. Вдовин привел доказательства того, что в российских официальных бумагах он появился значительно раньше [Вдовин, 1953].

В 1844-1845 гг. академик А. Миддендорф предпринял грандиозное по своим масштабам путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. По сравнению с тунгусами негидальцам отведено в труде Миддендорфа совсем немного места. Тем не менее он выделил особую этническую группу на Амгуни и ее притоке Нимелене, назвав ее “нигидальское племя”. До путешествия А. Миддендорфа принято было думать, что в бассейне Амгуни живут тунгусы (эвенки). Это оказалось не совсем так [Миддендорф, 1878].

Более основательные исследования в бассейне Амгуни были проведены экспедицией адмирала Г.И. Невельского. Летом 1851 г. Невельской командировал на Амгунь мичмана Н.М. Чихачева и прапорщика Д.И. Орлова. Материалы, полученные экспедицией Г.И. Невельского и опубликованные впоследствии, ценны и разнообразны. Впервые россиянами были сделаны описания расселения и быта таких небольших народностей как мангуны (ульчи), негидальцы, ороки, айны. Хотя экспедиция ставила перед собой прежде всего политические задачи, собранные ею этнографические и статистические сведения до сих пор не утратили своего значения [Невельской, 1947].

В середине 50-х годов XIX в. Амур и Сахалин посетил Л. Шренк. Наиболее подробно он ознакомился с жизнью нивхов, ульчей и нанайцев, но немало информации собрал и о других народностях. В частности, он четко обозначил границы этнической территории негидальцев. Возникновение этнонима “негидальцы” Л. Шренк, ссылаясь на отчет поручика Козьмина, относит к 1830 г., а до того всех жителей Амгуни именовали “амгунскими тунгусами” [Шренк, 1899, с.157]. Л. Шренк был склонен думать, что “негда – самоназвание народа, а приводимое Миддендорфом самоназвание “*Ылкан*” на самом деле дано негидальцам тунгусами тугурскими или Станового хребта [Там же, с.158]. Появление негидальцев на Амгуни Л. Шренк соотносил с расселением *Самагиров* и *Килей* в местах их нынешнего проживания [Там же, с.157]. Он полагал, что между негидальцами и самагирами существовало близкое родство, а языки этих этносов более всего сходны с ульчским [Там же, с.291]. В антропологическом отношении, по мнению Шренка, негидальцы приближаются к нивхам, а самагиры – к нанайцам [Там же, с.304].

В 1910 г. в районах проживания негидальцев побывал Л.Я. Штернберг. Собранные им среди негидальцев материалы в числе других были опубликованы посмертно лишь в 1933 г. [Штернберг, 1933]. В главе “Негидальцы” освещаются некоторые вопросы духовной культуры: религиозные представления, медвежий праздник, родовые предания, поверья. В

качестве приложения дан краткий негидальско-русский словарь и грамматические заметки. При всей своей ценности и надежности материалы Л.Я. Штернберга по культуре негидальцев все-таки носят случайный и фрагментарный характер.

В 1925 г. И. Гапанович опубликовал во владивостокском журнале статью о поездке на оз. Чукчагир [Гапанович, 1925]. В ней он характеризует основные занятия негидальцев, говорит об их численности и называет крупные стойбища “верховской” группы.

В 1926-1927 гг. ученицы Л.Я. Штернберга студентки Ленинградского университета К.М. Мыльникова и В.И. Цинциус предприняли годичную экспедицию к негидальцам. К.М. Мыльникова в основном занималась выяснением лингвистических вопросов, а В.И. Цинциус – этнографических. В 1931 г. молодые исследовательницы опубликовали часть своих полевых материалов [Мыльникова, Цинциус, 1931]; их статья состоит из двух частей: этнографо-социологической и лингвистической, в приложении даны 5 текстов на негидальском языке с подстрочным переводом.

К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус впервые было осуществлено фронтальное обследование негидальских стойбищ, были получены точные сведения об их численности и родовом составе. С точки зрения этнографии и лингвистики, были выделены две группы негидальцев: “низовские”, составляющие приблизительно две трети общего числа и живущие в низовьях Амгуни, и “верховские”, живущие в ее среднем течении [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.107-108]. Они выявили 13 негидальских родов, два из которых были уже вымершими: *N'asixagil*, *Ayumkan*, *Чукчагил*, *Чомохогил*, *Тапкал*, *Удан*, *Тойомкон*, *Амункан*, *Муктегил*, *Босакогил*, *Олчакогил*, *Хатагил* (вымерший), *Сигдан* (вымерший) [Там же, с.110].

В эти же годы уполномоченным по туземным делам (“уполтуздел”, как тогда говорили) Николаевского района Хабаровского края работал А.Н. Липский. В 1925 г. в качестве предисловия к материалам первого туземного съезда Дальневосточного округа им был подготовлен весьма основательный для того времени этнографический обзор, где есть и раздел о негидальцах [Липский, 1925].

Вообще же, в 20-30-е годы XX в. Амгуньский район довольно интенсивно посещался исследователями. В 1935 г. здесь повторно побывала К.М. Мыльникова, собравшая значительный археологический и этнографический материал [Форштейн-Мыльникова, 1936].

Изучение языка и культуры негидальцев активизируется в 50-60-е годы XX в. В 1956 г. появляется фундаментальный труд “Народы Сибири”, в котором содержится и статья “Негидальцы”, написанная С.В. Ивановым, М.Г. Левиным, А.В. Смоляк [Народы Сибири, 1956, с.776-782]. В конце 40-х годов XX в. начала заниматься этнографией народностей Нижнего Амураи Сахалина А.В. Смоляк (в то время – Стренина), опубликовавшая впоследствии немало своих работ, в том числе и статью, посвященную этногенезу негидальцев [Смоляк,

1977].

В 1961 г. у “низовских” негидальцев побывали ленинградские лингвисты В.Д. Колесникова и О.А. Константинова. Их лексические сборы вошли в «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» [ССТМЯ, 1975, 1977], а итогом экспедиции стала статья “Негидальский язык” [Языки народов СССР, 1968].

В последние десятилетия XX в. этнографы и лингвисты не обходили своим вниманием районы проживания негидальцев. Там, в частности, вели исследования: Л.И. Сем, Ю.А. Сем, В.В. Подмаскин, А.М. Певнов, М.М. Хасанова, Н.Я. Булатова, Г.И. Варламова, Т.Ю. Сем, С.В. Березницкий, Д.В. Янчев, Т. Цумагари (Япония), С. Кадзама (Япония) и др.

Строго говоря, у негидальцев не было представления о себе, как о едином этносе. Они осознавали и хорошо знали лишь свою родовую принадлежность. Единство рода всегда ставилось ими на первое место. До сих пор можно услышать от представителя, скажем, рода *Н’асихагил*, что *Чукчагил* – это “не негидальцы, другой народ”. Свою родовую принадлежность знают все пожилые люди. Определяется она по роду отца. С начала 80-х годов и до конца XX в. мы старались постоянно фиксировать все родовые названия негидальцев. В этот период они называли следующие роды: у “низовских” – *Н’асихагил*, *Айимкан*, *Чомохогил*, *Тапкал*, *Удан*; у “верховских” – *Чукчагил*, *Тойомкон*, *Айумкан*, *Муктэгил*. Два наиболее крупных негидальских рода – *Н’асихагил* и *Чукчагил*. О некоторых родовых наименованиях, отмеченных другими исследователями, нам не удалось услышать ни разу даже как о вымерших. Это, например, *Босакогил* и *Олчакогил*.

В то же время наши полевые материалы показывают, что негидальцы понимали и признавали языковую и культурную близость нескольких проживающих на одной территории родов. Одно из самоназваний “низовских” негидальцев (*нā бэйэсэлтин* ~ *нā бээсэлтин*) является калькой соответствующего ульчского или нанайского этнонимов (*нāни*), именно этим термином они могут обозначать свою этническую группу. В этом случае к указанному словосочетанию прибавляется местоимение первого лица множественного числа (инклюзив) *битта* ‘мы’: *битта нā бэйэсэлтин*, что означает ‘наши местные люди (наша группа негидальцев)’. Без местоимения *битта* словосочетание *нā бэйэнин* (ед.ч.) или *нā бэйэсэлтин* (мн.ч.) может относиться не только к негидальцам, но и к нивхам, ульчам, нанайцам, т.е. ко всем аборигенам Нижнего Амура. Неприменимо оно было, по мнению стариков-негидальцев, к корейцам, китайцам, японцам и русским.

ФОЛЬКЛОР НЕГИДАЛЬЦЕВ

К настоящему моменту негидальский фольклор изучен слабо, хотя имеется ряд публикаций как на языке оригинала, так и в изложении на русском языке.

Первые записи негидальских нарративов по-русски были сделаны Л.Я. Штернбергом в 1910 г. Тогда же им была произведена запись 6 негидальских песен на восковые валики фонографа [Фонограммархив, № 1001-1006].

Несколько образцов негидальского фольклора было опубликовано на языке оригинала в 1931 г. К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус [Мыльникова, Цинциус, 1931]. В.И.Цинциус написала впоследствии, что из экспедиции 1926-1927 гг. они привезли 320 образцов устного творчества негидальцев, из них 150 сказок и преданий, 70 песен, 60 загадок, 20 табу-запретов [Цинциус, 1982, с.4]. К сожалению, К.М. Мыльникова не смогла издать почти ничего из своих записей за исключением трех текстов в “Тунгусском сборнике” [Мыльникова, Цинциус, 1931].

Книга В.И.Цинциус “Негидальский язык”, изданная спустя 55 лет после проведенной экспедиции, включает 40 образцов устной словесности негидальцев. Это бытовые рассказы, мифы, предания, сказки, запреты, поговорки-приметы и три песни. Все произведения, кроме песен, имеют оригинальный текст, отражающий диалектные особенности. Помимо грамматического очерка, в книге содержится словарь, включающий около 7000 слов. Во введении охарактеризованы жанры негидальского фольклора. В.И.Цинциус приводит бытующее в народе понимание видов устного творчества и научную трактовку этого [Цинциус, 1982, с.4-5].

В июне-июле 1961 г. О.А. Константинова и В.Д. Колесникова предприняли лингво-фольклористическую экспедицию к “низовским” негидальцам. Они собирали лексический, грамматический и фольклорный материал. О.А. Константиновой записано 16 текстов, В.Д. Колесниковой – 19. Среди этих образцов, кроме собственно негидальских, есть ульчские, эвенкийские и даже одна китайская сказка, рассказанные по-негидальски. Тексты О.А. Константиновой и В.Д. Колесниковой не опубликованы (лишь одна маленькая сказочка приведена как иллюстрация в конце грамматического очерка негидальского языка [Языки народов СССР, 1968, с.127-128]).

Зимой 1973 г. у представителей “верховской” группы делал магнитозаписи этномузыковед И.А. Богданов. Среди его материалов есть интересные песни и сказки, но расшифровать их будет чрезвычайно сложно.

Как уже отмечалось ранее, мы начали собирать образцы устного творчества негидальцев в 1981 г. Фольклор к этому времени практически не бытовал, исполнители теряли навыки, многое забыли. И все же кое-что удалось сделать.

Разумеется, в настоящее время негидальский фольклор в его естественном виде не существует. Молодежь почти не знает негидальского языка и поэтому, естественно, не понимает фольклорных произведений, а о детях нечего даже говорить. Механизм разрыва культурной традиции известен: система воспитания в интернатах разъединяла детей и родителей, традиции рушились. Тем не менее, некоторые сюжеты продолжают бытовать и воспроизводятся уже по-русски (прежде всего те, что связаны с промысловыми обрядами).

По воспоминаниям стариков, в прежние времена было немало хороших

исполнителей. Почти в каждой деревне был свой сказочник. Если же хотелось послушать особенно интересные сказки, то приглашали знаменитых сказочников из других селений. Рассказывать произведения определенных жанров надо было в двух случаях: на охоте и во время бдений при покойнике. В повседневной жизни сказки и предания исполнялись по просьбе слушателей.

На охоте вечерами, как правило, рассказывали сказки о животных и различные мифы. Предпочитали повествования о духах-хозяевах местности. Сейчас это объясняют просто традицией или говорят: “Ну, скучно же вечером-то”. Между тем, по нашим сведениям, не только охотники развлекали себя и духов рассказами, но и оставшиеся в деревне люди собирались у какой-нибудь из старух и слушали всю ночь сказки. Несомненна направленность усилий охотников и их близких: задобрить и привлечь духов, обеспечить удачный промысел. (То же самое наблюдалось у эвенков, нанайцев, орочей [ср. Лебедева, 1966, с.196-197] и других народов Сибири.) На рыбалке вечерами собирались у костра и тоже слушали сказителей. Бывало, что на промысел специально брали с собой старика-сказочника.

Во время бдения при покойнике следовало рассказывать фольклорные произведения. Если умер мужчина, то, кроме того, обычно вспоминали случаи из его охотничьей жизни, рассказывали различные охотничьи истории. Многие негидальцы считают, что можно было рассказывать и сказки [ср. обычаи тувинцев: Тувинские народные сказки, с.29].

Детям перед сном старались каждый вечер рассказывать небольшую сказочку. Это могли делать и мать, и отец. Дети успокаивались и засыпали.

До 40-50-х годов, когда в небольших селах не было электричества, не было клубов, люди по вечерам собирались у народных исполнителей. Приходили часов в 7 вечера, слушали сказителя, около полуночи делали перерыв и пили чай, а потом слушали до утра. Дети, конечно, так долго не выдерживали и засыпали где-нибудь в уголке. Взрослые же слушали с неослабным вниманием, подбадривая сказителя возгласами: “Гэ!” (междометие побуждения и одобрения в негидальском языке).

Естественно, профессиональных сказителей у негидальцев не было. Всякий талантливый человек получал признание. Практически еще в недавнем прошлом сказки знали и рассказывали все. Понятно, что не все одинаково артистично могли это делать, но неплохо изложить десятка два сказок был в состоянии любой. Лучшие исполнители имели хорошую наследственность в этом смысле: у них в роду непременно были или шаманы, или известные сказители.

Два крупнейших и постоянно противопоставляемых носителями “жанра” негидальского фольклора – это *тāлуН* и *улгу(й)*. *ТāлуН* – род произведений с вымышленным содержанием в то время как *улгу(й)* считаются действительными событиями, происходившими в прошлом. Для негидальцев, как и для других народностей Севера, чрезвычайно важным является отношение к содержанию произведения. В *улгу* верят, поэтому их надо передавать очень точно, ничего не

добавляя от себя. *Улгу* лишены ярких художественных черт, имеют строгий и краткий канонический текст. В это множество входят: мифы, родовые предания, шаманские легенды, былички, охотничьи и бытовые рассказы. Есть *улгу*, которые рассказывают только мужчины (например, миф о небесном охотнике *Маһи*).

Кроме *улгу*, к достоверным повествованиям причисляются произведения с весьма фантастическим содержанием, не имеющие общего обозначения, но входящие в категорию “я сам видел” или “не *улгу*, не рассказ, а быль-правда”. К таковым относится, скажем, нарратив о карликах, исчезнувших при появлении людей; предполагается, что это были небесные люди, жители “верхней земли” (см. № 31). Подобные произведения не вполне вошли еще в разряд *улгу*, они находятся в процессе становления. Тем не менее все *улгу* и “не *улгу*, а правда” воспринимались носителями как абсолютно достоверные, но подразделялись на “старинные” (например, тотемические мифы) и современные.

ТāлуҢ расценивались как выдуманные, фантастические произведения. Их ткань расцвечивалась различными художественными средствами, исполнение театрализовалось, не возбранялась и доля импровизации. Впрочем, весьма строгие каноны существовали и здесь: так, сказка “Селавун”, записанная нами у “низовских” негидальцев через 56 лет после В.И. Цинциус, почти дословно совпадает с опубликованным ею вариантом “верховской” группы [Цинциус, 1982, № 28]. К *тāлуҢ* относятся: сказки о животных, бытовые, героического содержания (в том числе и с речитативами), кумулятивные. Хорошие исполнители *тāлуҢ* всегда голосом и мимикой изображают своих персонажей (особенно в сказках о животных), дают ремарки, как бы удивляясь или возмущаясь вместе со слушателями.

Два основных вида фольклорных произведений существуют и у нивхов (*тылгу* ‘предание, рассказ’ и *Ңызит* ‘сказка’), энцев (*дёречу* и *сюдобычу*), приенисейских ненцев (*лаханаку* и *сюдбаби*), нганасан (*дюрумэ* и *ситаби*), хантов (*потыр*, *ясын* и *маньть*, *мось*, *моньсь*), манси (*потыр* и *мойт*). Различие между этими категориями то же, что и в фольклоре тунгусо-маньчжурских народностей: достоверность или недостоверность с точки зрения носителей.

У “верховской” группы негидальцев *тāлуҢ* подразделяются на две категории: *гүмэ тāлуҢ* (букв.: словесный *тāлуҢ*) и *икэвкэчи тāлуҢ* (букв.: *тāлуҢ*, имеющий песни, *тāлуҢ* с пением). У “низовских” негидальцев подобного членения нет.

Вопрос о проникновении к негидальцам *икэвкэчи тāлуҢ* достаточно сложен. По нашим наблюдениям и многочисленным опросам, эпическая традиция у негидальцев находилась в стадии становления. “Верховские” негидальцы прямо заявляют, что “*икэвкэчи тāлуҢ*ил – это эвэди нимҢакāлтин” (‘песенные сказки – это эвенкийские сказки’). “Низовские” же уверяют, что у них есть и собственные сказки “с песнями”, но нам их, к сожалению, услышать не

довелось. Те сказания, которые слышали и записывали мы, были явно эвенкийские. Имена героев эвенкийские: *Эмэсликэн, Дарпекчан, Гарпаникан, Мэҥункэн, Сэлэргун* и т.п. Если прозаический текст такого сказания идет на негидальском языке, то речитации героев – на эвенкийском. Мы не брали бы на себя смелость делать такие заключения, если бы не могли легко отличить эвенкийскую речь от негидальской.

Сам по себе факт заимствования жанра не уникален, тем более жанра героического. Вспомним хотя бы таджикский эпос о Гуругли, заимствованный у тюрков. Тюркский эпос “Гёроглы” исполняется не менее чем на 15 языках, в том числе на армянском, абхазском, арабском, курдском [Гуругли, с.20-21]. А нганасаны свои *ситаби* (героические поэмы) считают ненецкими [Сказки и предания нганасан, с.17]. Еще одним примером подобного рода может служить заимствование нивхами всего разряда *тэлунгу* (нивх. *тылгур*) у тунгусо-маньчжурских народностей [Хасанова, 1991]. Это не удивительно, ибо эпические или близкие к ним жанры сложны по структуре, непросты в исполнении – их возникновение и становление требует определенных условий. Одним из таких условий является, на наш взгляд, самосознание этноса, его стремление к консолидации. В такие моменты народ нуждается в героизации своих предков и истории – именно это и дает эпос. В ряде случаев этнические группы могут испытывать мощное культурное влияние соседей, что влечет за собой ускорение процесса развития. Это, думается, и произошло в районах расселения восточных групп эвенков, на которых сильнейшее воздействие оказали якуты. Вследствие культурного напора последних эвенки частично заимствовали и адаптировали, а частично создали собственные произведения героического характера. В свою очередь, негидальцы, которым эвенкийский язык в общем-то понятен, заимствовали жанр героических сказаний целиком.

Почти все негидальские *талуҥ*, как и *улгу*, не имеют названий.

Паремииологические жанры представлены в фольклоре негидальцев запретами, приметами, обращениями к духам и к душам умерших, формулами «медвежьего праздника», загадками, поговорками, детскими присказками. Все паремии мы делим на обрядовые (обращения к духам, формулы «медвежьего праздника» и запреты) и необрядовые. Обрядовые паремии в прошлом играли чрезвычайно важную роль в духовной культуре негидальцев.

Наиболее значимыми и многочисленными среди обрядовых паремий были запреты (*оҗōви ~ оҗави*). Система запретов существовала у всех тунгусо-маньчжурских народностей и регламентировала абсолютно все стороны жизни людей. Само негидальское наименование запрета связано с корнем, означающем ‘беречь, хранить’ и представленным в ряде тунгусо-маньчжурских языков.

На втором месте стояли, пожалуй, обращения к духам. У духов-хозяев природы, воды, огня просили благополучия, здоровья, охотничьей удачи. Обращения к духам были краткими и произносились тогда, когда их “кормили”, т.е. приносили им в жертву табак, водку, еду.

Из необрядовых паремий самыми распространенными были загадки; в настоящее время они почти утрачены. Можно думать, что в прошлом существовало множество примет; теперь сохраняются лишь те, что связаны с природными явлениями. Поговорок очень мало, но это не удивительно, так как их мало и у родственных негидальцам народов (например, у эвенков).

Негидальские необрядовые песни (*ихэн*), как и аналогичные песни других тунгусо-маньчжурских народностей (и шире – народностей Севера), принципиально отличаются от песен европейских народов. Прежде всего, у негидальцев нет «общеизвестных» песен, которые могут исполняться любым желающим (за исключением «песнетанца» *хэжэ*). Песни были сугубо индивидуальным делом. Они сочинялись конкретным человеком по какому-то случаю или под настроение и могли исчезнуть без следа, а могли и остаться в памяти родственников и близких. Всем песням негидальцев изначально присуща импровизационность: тексты никогда не совпадают при повторном исполнении, они непременно перестраиваются, изменяются, даже в колыбельных. Мелодии же, наоборот, обладают удивительным постоянством: для всех своих импровизаций исполнитель, как правило, использует одну и ту же мелодию (типовой напев). Негидальские песни условно можно разделить на личные (собственно “личные”, или биографические, лирические, шуточные, плачи), колыбельные, чистые импровизации и песнетанец. Поют негидальцы без аккомпанемента (за исключением ритуальных шаманских песнопений, исполнявшихся под звуки бубна) [подробнее см. Хасанова, 1996].

У негидальцев существовал лишь один коллективный круговой танец *хэжэ* (кинематику шаманских камланий нельзя, разумеется, признать танцем). Поскольку *хэжэ* сопровождался определенным набором слов, то вернее его характеризовать как песнетанец. Сами негидальцы относят *хэжэ* к категории *эвин* ‘игра, танец, развлечение, соревнование’. Слова *хэжэ* были известны всем, но запевать, создавая ритм танца, имели право не все – здесь были весьма строгие правила [см. подробнее Хасанова, 1996].

Хотя мы выделяем в негидальском фольклоре мифы, сказки, предания, бытовые рассказы, песни и паремии, это не означает, что перечисленные жанры полностью сформировались. Есть немало произведений переходного типа или вообще не имеющих какой-то жанровой прикреплённости. Так, нередко в сказках прослеживаются черты, сближающие их с мифами. Некоторые сказки можно было бы даже отнести к разряду «мифологических сказок» (конкретнее см. далее). Мифологические мотивы обнаруживаются и в преданиях и даже в бытовых рассказах. Некоторая жанровая неопределённость и мифологическая ориентированность свойственна не только негидальскому фольклору, но и устному творчеству других тунгусо-маньчжурских народностей.

* *
*

В данном сборнике мы предлагаем вниманию читателей не все наши фольклорные сборы, а лишь мифы и сказки о животных. Это продиктовано тем, что негидальские сказки весьма неоднородны и требуют обширных фольклористических и этнографических комментариев. Что касается паремиологии, то, кроме загадок, все прочие ее разделы нуждаются в специальных подробных разьяснениях.

Мы уже отмечали, что мифы негидальцы относят к разряду *улгу(й)*. Все мифы считаются действительными событиями, происходившими в далеком или не очень далеком прошлом.

Внутри категории *улгу(й)* просматривается несколько временных пластов [подробнее об этом см: Хасанова, 1999, с.46-48]. Так, ряд мифов негидальцы относят к очень отдаленным временам, определяют их как *гойопти* 'давний' или обозначают русским словом «старинай». Эти сюжеты уже теряют свою мифологическую основу и приближаются к сказке. К ним относятся, например, мифы о небесном охотнике *Маһи* (№ 8), о трех солнцах (№№ 2-4), о верховном духе *Боуа* (№ 1) и др. Именно эти повествования часто начинаются так: «Есть такой *улгу*» или «Правда-правда!».

Более того, до недавнего времени негидальцы, владевшие искусством слова, считали необходимым при исполнении важных для их духовной культуры мифов пользоваться специальными приемами «усиления достоверности» (см. №№ 16, 17, 22, 26, 45, 46 и др.). Скажем, миф о девушке, вышедшей замуж за медведя, несмотря на свою очевидную древнюю основу, подкрепляется иногда вполне конкретной датой (№ 12). Миф же о тигре-сородиче связывается с определенным кланом негидальцев (№ 17). В мифологических же рассказах и быличках **обязательно** присутствуют название населенного пункта, где происходило событие, и достаточно точное указание даты (10 или 15 лет назад). Нередко упоминаются и имена людей, которых, разумеется, в настоящее время уже нет в живых. Особенно это свойственно нарративам о духах-хозяевах места или зловредных духах-*амбанах*, о витающих вблизи шаманских захоронений душах шаманов (см. комментарии к текстам).

Иначе говоря, древние, но важные для того или иного этноса (здесь мы имеем в виду прежде всего тунгусо-маньчжурские народы) мифы постоянно подновляются, модернизируются с помощью имен, дат, топонимов. Менее значимые, с точки зрения носителей, произведения постепенно теряют установку на достоверность, поэтому все меньше поддерживаются специальными средствами конкретизации и все больше воспринимаются как сказочная проза.

За все годы работы нам удалось записать не слишком много мифов; правда, некоторые имеют несколько вариантов. Значительно больше существует мифологических рассказов, мифологических «страшилок». Собственно мифы обычно очень краткие, схематичные [ср. мнение Б.О. Долгих о нганасанских этиологических мифах: Долгих, 1976, с.23-24]. Чтобы понять заключенный в них смысл, надо хорошо знать духовную культуру этноса.

К древним негидальским мифам можно отнести мифы о сожительстве человека и медведя. Мы разделяем их на 3 группы. Первую, на наш взгляд, наиболее архаическую, составляют повествования о том, как женщина уходит из дому, предупредив брата, чтобы он на охоте не убивал медведицу с двумя медвежатами (№ 10). Но брат по ошибке все же убивает ее. В подобных мифах не объясняется, куда и почему уходит женщина. Все – и слушатели, и рассказчик – **знают**, что ее мужем стал медведь. Эти мифы скорее всего исполнялись не для развлечения, не для получения каких-то новых сведений, а входили в систему ныне утерянных медвежьих ритуалов (церемоний, посвященных медведю). Этот тотемический в своей основе сюжет является наиболее частотным среди всех медвежьих. Миф об ушедшей к медведю (или уведенной медведем) девушке бытует у эвенков, эвенов, орочей, нанайцев, ульчей; следовательно, его можно считать общетунгусоманьчжурским. Г.М.Василевич полагала, что эвенкийская версия этого сюжета – наиболее древняя, принадлежащая «пратунгусам», которые ушли на восток и сохранили архаический вариант [Василевич, 1971, с.157].

Вторая группа медвежьих мифов, бытующих у негидальцев, представляется нам «общесибирской» (№ 11, №12). Их канва такова: женщины едут за ягодами, одна из них при сборе ягод пропадает, через много лет она возвращается в родное селение (одна или с двумя медвежатами). Такого рода сюжеты распространены на огромной территории. Е.А.Алексеев показала, что их единая мифологическая основа прослеживается на евразийско-американском материале [Алексеев, 1985]

Третья группа относится, по нашему мнению, к категории «автохтонных» сюжетов (№ 14). Это миф о зимовке охотника в медвежьей берлоге. Сюжет характерен для нивхов [Штернберг, 1908, №№ 29, 30; Крейнович, 1973, с.197-199, 426-427]. Показательно, что и самими негидальцами он оценивается как чужеродный (*улчу улгу* ‘ульчский *улгу*’). Справедливости ради надо сказать, что в архиве Н.А. Липской имеется вариант, записанный ею в негидальском с. Им (см. комментарий к № 14, где текст приводится целиком). Два варианта сюжета опубликованы В.И. Цинциус [Цинциус, 1971, с.192-193].

Нам кажется важным подчеркнуть две особенности негидальских медвежьих мифов. Во-первых, сюжеты трех выделенных нами групп не контаминируют между собой. Во-вторых, в них никогда не рассказывается о правилах обращения с медвежьей тушей. Причины этого нам объяснить трудно, но, пожалуй, Г.М. Василевич права в том отношении, что одна из маргинальных тунгусских групп сумела лучше сохранить некоторые древние мифологемы. Вероятно, какая-то часть этой группы и послужила основой для формирования негидальцев.

Хотя «низовская» группа негидальцев заимствовала у нивхов (или ульчей) навыки выращивания медведя в клетке и соответствующий «праздник» *Њаска* (нег. *Њаска* < ульч. *Њарка* < нивх. *ЊарК*), она не утратила тем не менее древних охотничьих воззрений, что подтверждается их мифологией [подробнее о

«медвежьем празднике» негидальцев см.: Хасанова, 2000, с.203-210)]. Аналогичную медвежьим мифам схему имеет и сюжет о сожительстве женщины и тигра, скорее всего заимствованный «низовскими» негидальцами у ульчей (№ 16, № 17).

Среди космогонических мифов значительное число вариантов прослеживается у амурского мифа о трех (двух) солнцах (№№ 2, 3, 4). В нем говорится, что прежде светили три солнца, и на земле от жары плавились даже камни; смелый охотник убил два солнца и спас все живое. Этот сюжет известен всем народностям Приамурья: нанайцам, орочам, ульчам, удэгейцам, нивхам (см. комментарии к текстам). Вероятнее всего, что этот сюжет пришел на Амур с юга. [Подробнее о южных вариантах мифа: Исида, 1998, с.44].

Нами записано несколько вариантов мифа о девочке на Луне: от схематичного изложения сюжета до развернутого описания жизни девочки-сиротки (№ 5, № 6, № 7). Конец у всех вариантов одинаков: в полнолуние на Луне виден силуэт девочки с берестяными ведерками. По нашим сведениям, сюжет известен и эвенкам.

Сюжет о человеке (или людях) с ведрами на Луне широко распространен в Азии, Канаде и Европе. Причины попадания на Луну разные – похищение, наказание или, напротив, спасение от невыносимой жизни. Обзор вариантов можно, в частности, найти в одной из статей японского этнографа Э.Исиды [Исида, 1998, с.10-34].

Один из интереснейших негидальских (и шире – тунгусо-маньчжурских) мифов – миф о небесном охотнике *Маңи* (№ 8). В нем говорится о появлении Млечного Пути (*Маңи ганичāнин* ‘след лыж *Маңи*’ у «низовской» группы и *Маңи о́жанин* или *Маңи ганичāнин* – у «верховской») и лосей на земле; кроме того, в нарративе объясняется, откуда взялись киты в море и почему у сохатого «ямочки» на задних ногах. Аналогичный сюжет зафиксирован у эвенков, орочей, возможно, есть он и у нанайцев; встречается он также у народов Сибири, например, у кетов [Мифы, предания, сказки кетов, № 8)].

Антропогонический миф о *Боуа* (№ 1) имеется лишь у «низовских» негидальцев. Он повествует о создании демиургом *Боуа* животных и людей, о вредоносном *амбане*, помешавшем осуществлению замысла *Боуа*, и о том, как *Боуа* обустроил жизнь людей и животных. Варианты этого мифа или его частей встречаются в устном творчестве эвенков, орочей, удэгейцев (см. комментарий к тексту).

Особенностью космогонических и тотемических мифов тунгусо-маньчжурских народностей является их нарочитая недосказанность, схематичность, подчас как бы обрывочность. Обычно сюжет излагается в нескольких фразах, слушатель же должен знать, что кроется за ними, и делать для себя выводы. Носителю фольклора не надо было объяснять, кто такой *Маңи* и почему он может бросить лосенка на землю, сказав: «С этих пор будешь земным зверем!» Обширный подтекст, мировоззренческая направленность *тэлуҥу* (по-негидальски этот «жанр» именуется *улгу*) были известны всем.

Люди (чаще дети), не знакомые с некоторыми *тэлуҕуу* (*улгу*), иногда не знали, как надо поступать, и делали ошибки. Так, одна из наших исполнительниц призналась, что видела когда-то жабу с серебряным рогом (см. № 42), но не знала еще соответствующего *улгу*, поэтому не смогла воспользоваться талисманом [ср. рассказ о «муравьином масле»: Алексеев, 1978, с.201-202]. Многие *тэлуҕуу* (*улгу*) наряду с запретами регламентировали прежде жизнь родового общества.

Этиологические мифы немногочисленны. Несколько вариантов касаются появления на земле кровососущих насекомых (№№ 32, 33), есть два сюжета о происхождении смерти (№№ 29, 30). Вероятно, многие этиологические мифы утратили свой сакральный характер и перешли в разряд сказок. Тот же сюжет о появлении кровососущих, например, является этиологическим завершением записанной нами сказки «Селавун» [См. также Цинциус, 1982, № 28].

Не много и родовых мифов. Наибольший интерес представляет миф рода *Тапкал* о водяном чудовище *химҕу* (его можно было бы отнести к тотемическим мифам, № 23). Сюжет известен нанайцам и, вероятно, ульчам. По словам негидальцев, род *Тапкал* смешанный, нивхско-негидальский, поэтому миф может быть сплавом представлений нескольких приамурских этносов. Миф о роде *Удан* повествует о сучке, разорванной на части плясавшими *хэҕэ*: им не хватило одного человека, чтобы замкнуть круг, и они взяли за передние лапы собаку (№ 37). *Улгу* о «девяти пальцах» принадлежит части рода *Н'асихагил*, носившей фамилию Сарины ~ Шарины (№ 39), а *улгу* о тигре-зятё – другой части рода *Н'асихагил* (по фамилии Соловьевы, № 17).

У негидальцев немало мифов и мифологических рассказов о разного рода духах. Это повествования о духах покинутых жилищ (№ 48), о злокозненных *амбанах*, пугающих людей (№ 39, № 40 и др.), об озерном чудовище *химҕу* (№№ 23, 24, 25, 26), о духе-хозяине зверей *калҕам* (№ 43), о духе озера Чукчагир (№ 35, № 52) и др. Имеются и такие произведения мифологического характера, которые мы затрудняемся причислить к какой-либо определенной категории и даем после прочих мифов. Тем не менее все вышеназванные нарративы сами негидальцы относят к *улгу(й)* и очень активно применяют в них приемы «усиления достоверности».

Сказки негидальцев (*та́луҕу*) делятся на две значительные группы: о животных и героического содержания (точнее, мифо-героического). Между ними располагается небольшое число бытовых сказок и анекдотов.

Сказок о животных много, еще недавно их знали все люди старшего и среднего поколений. Сейчас они уже не бытуют. Но мы бы не взялись утверждать, что это сказки «детские». В зависимости от природной одаренности рассказчика сказки о животных исполняются с той или иной степенью артистизма.

Сюжетные схемы эвенкийской сказки о животных впервые выделены и охарактеризованы Е.П. Лебедевой [Лебедева, 1966, с.184-202; 1974, с.130-150; 1979, с.76-99]. Они действительны и для соответствующих негидальских

сказок; исключение составляют лишь те сюжеты, которые мы относим не к сказкам, а к мифам.

Большинство сюжетов сказок о животных очень древние; можно думать, что они составляли основу общетунгусоманьчжурского фольклорного фонда (если таковой весьма условно выделить). Развивались они, несомненно, из мифов, с которыми и сейчас не вполне потеряли связь. Свидетельством того служат этиологические мотивы во многих сказках о животных. Кроме того, в этих сюжетах ощущается полное единение человека с природой, его равное с другими существами положение в ней: он может быть обманут (лисой, например), может и сам обмануть (зайцев), может безвинно пострадать. Но ему помогут (см. № 62, № 63 о старухе, лисе и птичке); так же помогают друг другу и животные (см. № 60, № 61, где филин учит летягу не отдавать лисе детенышей).

Самыми распространенными в фольклоре негидальцев надо считать сказки о хитрой лисе. На втором месте стоят нарративы о лягушке и мыши (крысе), на третьем – о медведе. Показательно, что все сюжеты имеют соответствия в устном творчестве других тунгусо-маньчжурских народов: некоторые у северной и южной групп, иные же – только у северной или только у южной (см. комментарии к текстам).

Сказки о животных, как правило, не имеют названий (как, впрочем, и мифы). Когда просишь рассказать *тāлуҢ*, то спрашивают: «*Солахива?*» или «*Эйэхивэ?*» («О лисе?» или «О лягушке?»). Перед исполнением обычно просто объявляют: *тāлуҢ* или *гүмэ тāлуҢ* ('сказка' или 'словесная (без пения) сказка'). Изредка говорят так: *ТāлуҢ. Эйэхиҗи, сиҢэйэҗи* 'Сказка. Лягушка с мышью'. Аналогичным образом обстоят дела с названиями произведений устного творчества и у эвенков [Василевич, 1936, с.6].

Лиса в негидальских сказках большая пройдоха и лгунишка. Она постоянно обманом добывает себе еду, подчас мотивы ее «шуток» с медведем совершенно не ясны (см. № 66 о заклеенных глазах медведя, № 67 о катании с горы на нартах). Возможно, № 66 и № 67, имеющие, кстати, этиологические концовки, вовсе не принадлежат к жанру сказок, а скорее – к мифам или даже мифологическим сказкам. Не исключено, что лиса в тунгусо-маньчжурских сказках приближается к роли трикстера.

Сказки о животных исполняются с большим артистизмом. Каждый исполнитель старается имитировать голоса героев: например, лягушки (квакающий) или лисы (тоненький, умильный). Для характеристики действий персонажей применяется широкий набор изобразительных слов, которые произносятся речитативом. Так, описывая, как лягушка с мышкой едут по реке за ягодами на куске лиственничной коры, сказитель говорит: *СиҢэйэ йгиҗий иҢчайан, эйэхи бэгдиҗий гēвуллан: тэмбуку боуйо сā-ай лаҤ-лаҤ-лаҤ* 'Мышь правит своим хвостом (как рулевым веслом), (а) лягушка гребет лапами: волна о плот плю-ух, (а лягушка задними лапами) шлеп-шлеп-шлеп'.

В сказке № 62 птичка, подражая камланию шамана, после каждой фразы

повторяет: *чӣН-чӣН чиревулд̄ане хо̄Нкойо!* – что, очевидно, должно изображать ее «шаманское чириканье» (перевести этот пассаж невозможно).

В обоих приведенных примерах использована также ритмизация.

В сказках о лисе иногда встречаются совершенно непередаваемые слова. Чтобы запугать летягу и заставить ее отдать одного из детенышей, лиса говорит: *қомқомта-арӣж̄ав!* («низовскôй» вариант, № 61; ср. Цинциус, 1982, № 24) или *эпэкэН сэрэкэм келтомт̄арӣж̄ам!* («верховскôй» вариант, № 60). Летяга же отвечает ей тоже непередаваемым словом – *эНерэт̄ам!* [ср. Цинциус, 1982, № 24]. Кроме того, в записи В.И. Цинциус [Цинциус, 1982, с.62] и в нашем «верховскôм» варианте лиса обращается к летяге по-нанайски: *пикт̄эйи б̄уру!* ‘дай своего детеныша!’. Сюжет этой сказки нельзя считать заимствованным у нанайцев, так как он бытует также в фольклоре эвенков, эвенков, орочей (см. комментарии к тексту). Не исключено, что это художественный прием, призванный показать, что лиса говорит на ином языке, она «другого рода». В одной из записанных нами сказок «низовск̄их» негидальцев (№ 68) речь лисы передается усеченными словами, имеющими в исходе звук -р (заметим, что усеченные слова встречается иногда и в песнях). Лиса, например, говорит: *Ама, омочир-р-р!* ‘Отец, лодкр-р-р!’, что означает: «Отец, я хочу покататься на лодке!». Это, вероятно, должно подчеркнуть «нездешность», таежную, звериную сущность лисы, которая в конечном итоге обманывает стариков.

У негидальцев ни сказки о животных, ни сказки героического содержания не имеют клишированных зачина и концовки. Отсутствуют также и устойчивые эпитеты и сравнения. Окказиональные сравнения нечасты, но все-таки встречаются.

В нашей коллекции сказок есть и такие, которые по формальным признакам скорее можно причислить к мифам. Но сами негидальцы определяют их как *т̄алуН* ‘сказки’. Все эти нарративы мы поместили в конце подборки сказок (№№ 75, 76, 77, 78). Наиболее точным определением для подобных произведений, нам кажется, был бы термин «мифологическая сказка». Он уже используется специалистами по ненецкому фольклору и абсолютно верно отражает сущность явления: это «жанр», совмещающий в себе признаки как сказки, так и мифа (см. также комментарии к текстам).

В негидальском фольклоре не применяются тропы, свойственные, скажем, якутскому или бурятскому устному творчеству. Тем не менее у негидальцев есть иные способы художественного оформления текста. Об одном из них мы уже упоминали выше – это образные слова и даже достаточно длинные цепочки таких слов. Они дают целостное представление о действии или ярко рисуют внешний вид персонажа. Приведем несколько примеров использования образных слов (иногда двоянных) в мифах и мифологических рассказах: *еми-ха лоқсо-лоқсо ойи-ха ӣчэ* ‘(нечто) лохматое-лохматое (букв.: лохм-лохм делающее) вошло (в дверь)’ (№ 15), *чон аманча* ‘раз – (и женщина) пропала’ (№ 16), *села-села н̄ичэ* ‘еле-еле (с трудом, с напряжением) открыла (девушка

дверь)» (№ 23), *гасин бэйэнин кев-кев бучэл* «вымерли абсолютно все деревенские» (№ 23).

Безусловно, более колоритными в художественном отношении являются негидальские сказки героического содержания. В них встречаются краткие, но весьма емкие описания природы, героев, событий. Мифы и сказки о животных как наиболее древние и в прошлом сакральные фольклорные жанры располагают меньшими художественными средствами, нежели прочие жанры. В то же время именно эти типы нарративов в негидальском фольклоре обладают наибольшей «каноничностью» текста, неизменяемостью его на протяжении длительного времени.

Если говорить не только о негидальском, но и шире – о тунгусо-маньчжурском фольклоре, то к его художественным особенностям мы бы отнесли минимум художественных особенностей. Прозаические тексты допускают весьма умеренную импровизацию, для несказочной же прозы она вообще запрещена. Импровизационная свобода в полной мере проявляется лишь в песнях, когда каждое новое исполнение звучит несколько иначе, чем предыдущее.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ НЕГИДАЛЬСКОГО ЯЗЫКА

ИМЕННЫЕ СЛОВА

В негидальском языке есть маркированная и немаркированная форма числа имен существительных. Маркированная всегда передает множественное число, немаркированная же чаще выражает единственное, но может обозначать и множественное (для аналогичной по употреблению формы в нанайском языке В.А. Аврорин предложил термин «общее число» [Аврорин, 1959, с.138]). Приведем примеры использования формы единственного (общего) числа в значении множественного:

Сагдил гунчāтин: «*Боха бэйэнин бижāтин*» «Старики сказали: «Наверно, **люди** верхнего мира (букв.: люди неба)»;

Надан бэйэ ихэйиван чопал хеналайгичан, *жōлай эмэвгичан*. *Тай ихэйилбэ он бичāдун нэктэйгичан* «**Кости** семи человек все погрузил на заплечные носилки, домой (их) принес. Те кости, как (они) были, разложил».

Маркированная форма числа представлена несколькими аффиксами: *-л*, *-сал*, *-нил*, *-тил*. Самым употребительным из них является *-л*, несколько реже встречается аффикс *-сал*, который используется преимущественно для оформления существительных, обозначающих человека. Аффиксы *-нил* и *-тил* присоединяются к очень ограниченному кругу существительных, передающих родственные отношения (*ак-нил* «старшие братья», *ам-тил* «родители» (букв.: отцы)).

В эвенкийском языке число имен существительных выражается несколько иначе. Так же, как и в негидальском, маркированная форма всегда обозначает в нем множественное число. Однако в отличие от негидальского немаркированная форма выражает в эвенкийском языке только единственное число, кроме тех особых случаев, когда у существительного в винительном неопределенном падеже форма единственного числа обозначает множество или совокупность однородных предметов [Константинова, 1964, с.44].

Категория числа в негидальском языке обнаруживает существенное сходство с соответствующей категорией в эвенском. Это касается, в частности, возможности использования немаркированной формы имени существительного для обозначения множественности [Новикова, 1960, с.126], впрочем, именно так обстоит дело во всех тунгусо-маньчжурских языках за исключением эвенкийского, о котором речь шла выше.

Категория обладания выражается в негидальском языке в принципе так же, как и в эвенкийском, при этом в низовском диалекте используется аффикс *-лкан*, характерный для некоторых восточных эвенкийских диалектов, в то время как в верховском используется аффикс *-чи*, встречающийся в других диалектах эвенкийского языка.

Выражение необладания в верховском диалекте негидальского языка не имеет отличий от эвенкийского, например, словосочетание *хутэ-йэ а́чин бэйэ* и там, и там означает 'бездетный человек, не имеющий ребенка человек'. В низовском же диалекте привативная конструкция (т.е. конструкция необладания) весьма своеобразна: во-первых, отрицательное слово *а́чин* находится не в пост-, а в препозиции по отношению к главному компоненту аналитической конструкции; во-вторых, этот главный компонент оформляется аффиксом *-ла*, а не *-йа*, т.е. вместо *хутэ-йэ а́чин бэйэ* в этом диалекте будет *а́чин хутэ-лэ бэйэ*.

В низовском диалекте главный компонент привативной конструкции, обозначающий объект необладания, может оформляться показателями числа и падежа, например:

А́чин хутэ-лэ-л бичэ́тин 'Без детей жили'; *Он бисис солахи́ а́чин а́чин му́-лэ-ж́и?* 'Как живешь (ты), подобно лисе, без воды?'.

В подобных случаях служебное слово *а́чин* не меняет свою форму, т.е. не допускает присоединения каких-либо аффиксов; может быть, правильнее было бы поэтому считать здесь *а́чин* препозитивной частицей. К этому решению нас подталкивает и то, что в эвенском языке отрицание *ач* не без оснований рассматривается как частица (ср. эвенское *ач ж́о-ла* 'без дома', но *ж́о а́чча* 'дома нет (т.е. дом отсутствует)'). Отметим при этом поразительное сходство привативных конструкций в эвенском языке и в низовском диалекте негидальского: ср. эвенское *ач ж́о-ла* 'без дома' и негидальское низовское *а́чин ж́о-ла* с тем же значением.

Слово, выражающее объект необладания, оформляется аффиксом *-ла* также в

орокском языке, в котором, правда, и позиция этого слова иная, и само отрицательное слово другое, например: *улала ана нари* ‘безоленный человек’ [Петрова, 1967, с.57]. Этот же аффикс *-ла* функционировал некогда и в ороческом языке, где аналитическая конструкция со значением необладания превратилась в синтетическую форму, имеющую показатель *-лачи* (этот показатель упоминается в работе В.А. Аврорина и Е.П. Лебедевой [Аврорин, Лебедева, 1968, с.198]), т.е., например, современное ороческое *угдалачи* ‘без лодки’ восходит к **угда-ла ачи(н)*. Следует сказать, что в привативной конструкции тот элемент, который выражает отрицание, находится в препозиции по отношению к главному компоненту конструкции из всех тунгусо-маньчжурских языков лишь в эвенском и негидальском. Данный факт можно рассматривать как одно из многих свидетельств имевших место в прошлом прямых контактов между обоими этими языками. Скорее всего, речь здесь должна идти о заимствовании из эвенского в негидальский, так как есть основания предполагать, что препозиция эвенского элемента *ач* обусловлена подражанием некоему чукотско-камчатскому языку, скажем, чукотскому, который для выражения значения необладания использует конфикс, например: *э-Нилг-ыкэ* ‘без ремня’ (от *Нилг-ын* ‘ремень’) (пример заимствован из работы П.Я.Скорика [Скорик, 1968, с.256]). Не исключено, что конфикс наподобие чукотского *э-.....кэ* (или с другой гармонией гласных *а-.....ка*) был эвенским языком структурно заимствован и адаптирован в виде конструкции *ач-ла*, где *ач* является отрицательной препозитивной частицей, соответствующей чукотскому префиксальному элементу в составе конфикса, и где показатель *-ла*, который оформляет слово, выражающее объект необладания, соответствует чукотскому постфиксальному элементу в составе конфикса. Если все это действительно обстояло так, то структурное заимствование было направлено именно из эвенского в негидальский, но не наоборот, поскольку последний прямых контактов с чукотско-камчатскими языками, в отличие от эвенского, по всей видимости, не имел.

Негидальская падежная система близка к эвенкийской, однако между ними есть отличия в звучании падежных аффиксов, а также в значениях некоторых падежей. И то, и другое касается, например, творительного падежа, показатель которого имеет в негидальском языке не эвенкийское, а «амурское» звучание, т.е. не *-т*, а *-џи* (*-т < -џи*); кстати, *-џи* в эвенкийском встречается, но лишь в качестве позиционно обусловленного варианта. В своих значениях негидальский творительный падеж существенно отличается от эвенкийского; например, наряду с орудийным, он имеет комитативное значение, оформляет косвенное дополнение при глаголах *асилā-* ‘жениться’, *Нэлэ-* ‘бояться’ и т.д. В эвенкийском языке негидальскому творительному может соответствовать отложительный падеж, а также форма совместности. Интересно, что значения творительного падежа в негидальском языке очень напоминают таковые в эвенском (значения творительного падежа в эвенском языке подробно

рассматриваются в книге К.А. Новиковой [Новикова, 1960, с.195-200]), а также в амурских тунгусо-маньчжурских языках, в частности, в нанайском (о значениях творительного падежа в нанайском языке исчерпывающе пишет В.А.Аврорин [Аврорин, 1959, с.179-180]).

Так же, как в эвенском, в негидальском творительный падеж может оформлять объект обладания, например:

*Лоча сэвйэ-**жи**-н **жа**халачийэн* ‘Владеет (как ценностью) русским шелком’.

Кстати, аффикс *-лаци-* в глаголе *жаха-лаци-йэн* ‘владеет ценной вещью’ имеет соответствие только в эвенском языке (ср. аффикс *-лат-*), видимо, и послужившем источником заимствования в негидальский, ср. эвен. (*орън*) *орнаттън* ‘имеет оленя’ (букв.: (оленем) оленя-имеет) (пример взят из работы К.А. Новиковой [Новикова, 1960, с.197-198]).

Кроме того, существует общая для негидальского и эвенского языков идиоматическая конструкция со значением ‘думать, что ...’, в которой также используется творительный падеж, ср. негидальскую фразу *Эмэн долбонмо хуглэ-йи-**жи**-й гэлбичав* ‘(Я) думал, что спал одну ночь (букв.: одну ночь своим спаньем называл)’ и эвенскую *Б’и h’ин дук-ри-**жи**-с гэрбъттив* ‘Я думал, что ты пишешь’ (пример заимствован из книги К.А. Новиковой [Новикова, 1960, с.199]). Данная идиома, по всей видимости, является заимствованием, причем скорее всего из эвенского в негидальский.

Творительный падеж – не единственное средство выражения комитативности в негидальском языке. Приведем примеры употребления форм, которых нет в эвенкийском (*-чил*, *-лүэлижи*):

*Эмэн бэйэ аси-чил **жав**жи **Һэнэ**чал* ‘Один человек с женой на лодке передвигался’ (букв.: передвигались);

*Балдийа нэху-чил эхи-чил, **Жуккэл** тй **би**жэйэ* ‘Живут младший брат со старшей сестрой, вдвоем так живут’;

*Олийа эни-чил **Жу**Һэсэл эмэ**Жатин*** ‘Ворон с матерью вдвоем придут’;

*Оли эни-чил **Жу**Һэсэл туктичал* ‘Ворон с матерью вдвоем поднялись’;

*Һэнэми эни-лүэли**жи**-н эмэвги**жав** тай асатканма* ‘Когда (если) пойду, с матерью приведу ту девочку’;

*Эсихис бүйэ, эй мō**Һэс** тибгу**жав**, синэ-лүэли**жи** хутэ-л-лүэли**жи**-с чопал-гэли**жи**-сун **Жэб**жав* ‘Если не дашь (птенчика), это дерево повалю, тебя, детей, всех вас съем (букв.: с тобой, с твоими детьми, с вами всеми)’.

Необходимо отметить, что все эти примеры, за исключением первого, относятся к низовскому диалекту негидальского языка.

Аффикс *-чил*, передающий значение комитативности, имеет соответствие только в эвенском языке, где он так же звучит и аналогичным образом употребляется и при этом рассматривается К.А. Новиковой как одна из трех форм совместного падежа [Новикова, 1960, с.153-154].

Аффикс *-лүэлижи* образован из трех, а может быть, даже из четырех элементов, последний из которых является показателем творительного падежа (*-жи*). Вероятно, именно по этой причине форма на *-лүэлижи* оказалась

приобщенной к негидальской падежной системе, о чем свидетельствует сопутствующая ей притяжательная аффиксация (см. приведенные примеры), наличие которой допускают формы всех падежей в негидальском языке. Так же как и *-чил*, аффикс *-лүэлижи* обладает соответствием только в эвенском языке, ср. зафиксированную В.Г.Богоразом в колымско-гижигинском наречии (иначе – в колымско-омолонском говоре) форму на *-lgali*, значение которой лучше проиллюстрировать следующими примерами: *čáyulgalíu kóld'im*, *uld'ulgalíu žébd'im* ‘(как) и чай пить стану, (так) и мясо есть стану’; *boyúrgalíu mád'im*, *órolgalíu mád'im* ‘и диких оленей убью, и домашних оленей убью’ [Богораз, 1931, с.44]. Форма *boyurgaliu* во втором примере определенно указывает на то, что первым элементом в составном аффиксе *-lgali* (и соответственно, в негидальском *-лүэлижи*) является показатель множественного числа (в эвенском языке именные основы на *-n* (т.е. *-н*) образуют множественное число путем замены этого *-n* на *-r* (т.е. *-р*).

Следует сказать, что в падежную систему негидальского языка стремится попасть еще одна не менее «длинная» форма, составные части которой пока недостаточно плотно срослись. Это устойчивое морфемосочетание проявляется в следующих вариантах: *-жидатки* ~ *-йидатки* ~ *-ҥидатки* и даже вроде бы *-лидатки*. Приведем примеры:

... тэкэнти эвгисинчэ **жэв-жидатки-й** ‘... наш предок спустился **к своей лодке**’;

Ивчан **ҥнэчэ-жидатки-н** **ҥнэйэн** ‘Ивчан ушел **туда, куда он** (другой человек) **ушел**’;

Тай бэйэ мэ^ан бичэ^а-**йидатки-й** тохсангичан ‘Тот мужик побежал обратно **туда, где он сам был**’;

... гёнин еллэн **нуҥан-ҥидатки-н** эмэйэн ‘... его товарищ встал и **к нему** подошел’;

... лōчасэл амаски **ҥуничэ^ал качер-лидатки** ‘...русские назад вернулись **к катеру**’.

Рассматриваемое морфемосочетание состоит из двух компонентов: *-жида-* (~ *-йида-* ~ *-ҥида-* ~ *-лида-*) и *-тки*. Первый из них означает ‘сторона’ и в историческом плане также делится на два элемента: *-жи-* и *-да-*. Второй (т.е. *-тки*) функционирует в негидальском языке как показатель направительного падежа; интересно, что и он образовался из двух аффиксов: **-ти-* и **-ки*.

Морфема *-жида-* может встречаться в негидальском языке в сопровождении показателей также других локативных падежей, например:

Тай **жōла буҥа-йда-лā-н** есчāтин ‘Дошли **до места поблизости** от того дома’ (*-йда-* является одним из вариантов морфемы *-жида-*, *-лā-* служит показателем местного падежа);

Кōма эмэйгйинин эйунин **жүл-лида-ду-н** ... ‘Незадолго **перед** временем прихода нерпы...’ (*-ду-* является показателем дательного-местного падежа).

В приведенных примерах мы видим морфему *-жида-*, выступающую в вариантах *-йда-* и *-лида-*, в составе послелогов, в то время как

морфемосочетание *-үидатки* обслуживает и существительные, и местоимения, и причастия (*Һэнэчэ-үидатки-н* 'туда, куда (он) ушел', *бичэ^а-йидатки-й* 'туда, где (он) был').

Естественно задать себе вопрос: почему в негидальском языке функционируют две формы со значением направленности? По-видимому, выражение значения направленности постепенно «перетягивает» на себя форма на *-үидатки*, более ранняя же форма направительного падежа на *-тки* параллельно этому процессу несколько меняет свои функции, как бы отрывая их от других локативных падежей. Короче говоря, в падежной системе негидальского языка происходит перераспределение ролей и одним из его результатов становится происходящее буквально у нас на глазах появление новой падежной формы с составным аффиксом *-үидатки*.

Следует отметить, что морфема *-үида-* выражает не столько свое исконное значение 'сторона', сколько связанное с ним значение близости чего-либо в пространстве или во времени. Такое указание на близость отчетливо проявляется в уже приведенном примере: *Тай җола буҗа-йда-ла-н есчӓтин* 'Дошли до места поблизости от того дома'.

Интересно, что удаленность в пространстве или во времени может обозначаться аффиксом *-Һэсэ* (мы не заметили его изменения по гармонии гласных); он не требует после себя показателей локативных падежей и оформленные им слова больше напоминают наречия, например:

... *огда элэ нела-Һэсэ тесайгича* '... лодка уже далеко от берега уплыла';

Баҗик-Һэсэ йүчэ^ан... 'Рано утром вышел...' (что-то вроде «далеким утром», ср. *баҗин-җида-ва* 'поздним утром (букв.: близким утром)');

Чопал а́ли-Һэсэ бучэ^ал 'Все давно умерли (букв.: в далеком когда, т.е. далеко во времени)'.

Ясно, что до появления грамматической категории близости/удаленности (в пространстве и во времени) дело в негидальском языке не дошло, однако очевидные предпосылки этого имеются.

Иначе, чем в эвенкийском, звучит в негидальском языке показатель отложительного падежа, выступающий в двух вариантах: *-дуккэй* (сингармоническое варьирование его под вопросом) и *-дукки-*. Вариант *-дуккэй* встречается только в простом склонении, а вариант *-дукки-* – только в притяжательном [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.151]. Этимология обоих вариантов показателя отложительного падежа остается неясной. Можно было бы, конечно, видеть в этих вариантах ассимилированные показатели возвратного притяжания (т.е. **-дук-ви* > *-дукки*, **-дук-вэй* > *-дуккэй*), однако в таком случае непонятно, почему вариант *-дукки-* предполагает наличие после себя не только личных, но допускает также употребление возвратных аффиксов (например, *-дукки-вэй* – множественное число возвратного притяжания).

В сопоставлении с эвенкийским в негидальском языке местный и продольный падежи имеют некоторые формальные особенности. В низовском

диалекте алломорфы *-дула* (местный падеж) и *-дули* (продольный падеж) употребляются только после основ, оканчивающихся на *-н*, а также после показателя множественного числа [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.143]. После других согласных оба падежных показателя выступают в той же форме, что и после гласных, например: *бит-ла* ‘к нам’, *мō-~~н~~-ла-н* ‘к его дереву’, *эвинн'ах-ла* ‘до игрища’.

В эвенкийском языке подобное распределение алломорфов совершенно исключено, зато весьма сходным оно является в эвенском (Новикова, 1960, с.154), где, правда, в отличие от негидальского после носовых согласных подвергается ассимиляции по назальности согласный звук падежного показателя (т.е. *-ла* > *-на*).

Форма винительного падежа нескольких существительных в идиолекте Е.М. Самандиной (Бобик) (низовской диалект) имеет консонантное удвоение, отсутствующее в эвенкийском языке (а также не замеченное нами в речи других негидальцев, с которыми мы работали): *жōвва* ‘дом’ (винительный падеж), *мūввэ* ‘воду’, *мōвва* ‘дерево’ (винительный падеж), *дōввāн* ‘его нутро, внутренность’ (винительный падеж). Можно думать, что эти необычные словоформы указывают на наличие некоего звука, вероятнее всего, звука *ʏ* в исходе реконструируемых слов **жōʏ* (< **жūʏ*) ‘дом’, **мυʏ* ‘вода’, **моʏ* ‘дерево’, **доʏ* ‘нутро, внутренность’. В форме винительного падежа этих слов исчезнувший звук *ʏ* оставил свой след в виде удвоенного билабиального *вв* (т.е. **жōʏ-ва* > *жōвва*, **моʏ-ва* > *мōвва*, **мυʏ-вэ* > *мūввэ*, **доʏ-ва* > *дōвва*). Исторически «ненужная», «лишняя» долгота гласных корня в словоформах *жōвва*, *мūввэ*, *мōвва*, *дōввāн* может быть объяснена действием принципа аналогии, т.е. уподобления в этом отношении словоформы винительного падежа словоформе именительного.

С винительным падежом в негидальском языке связано необычное для него явление фузии и соответственно образование флексии: *у~~н~~тувун-му* ‘мой бубен’ (*-му* < *-мэ-в*, где *-мэ* выступает назализованным вариантом показателя винительного падежа, а *-в* является показателем 1-ого лица единственного числа). Такое явление не осталось незамеченным в литературе [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.151]. Приведем примеры:

Тй̄лэхэн би дел-ву ж̄н̄эсэл ‘Ищите вшей в моей голове вдвоем («обесвшивливайте» мою голову вдвоем)’;

Би мō-н-н̄у атас тибгуйэ õхин-да! ‘Мое дерево не повалишь никогда!’;

Солахи хутэ-л-бу чопал манайан, эмэккэн ойгича ‘Лиса моих детей всех съела, только один остался’.

Однако в текстах, продиктованных нам Е.М. Самандиной (низовской диалект), наряду с флективной формой (например, *āвун-му* ‘мою шапку’) встречается и агглютинативная эвенкийского типа, например:

Авундуй со~~н~~ом. Солахи хуктувгича āвун-ма-в ‘Плāчу по своей шапке. Лиса унесла мою шапку’.

Аналогичная флексия характерна для эвенского языка, например: *ūtэ-му*

‘мой дом’ (винительный падеж) (пример взят из работы К.А. Новиковой [Новикова, 1960, с.163]).

Также с окказиональной флексией связано одно любопытное соответствие между усть-амгуньским говором низовского диалекта негидальского языка, с одной стороны, и эвенским языком, – с другой; рассмотрим в качестве примера усть-амгуньское *би мӯ-~~н~~-~~н~~у хакалча* ‘моя вода согрелась’; *-~~н~~-* является здесь показателем косвенной принадлежности, в именительном падеже «нормальная» форма притяжания 1-ого лица единственного числа должна звучать как *мӯ-~~н~~-в*, однако в усть-амгуньском говоре употребляется совершенно эвенская флексия, т.е. такая, которая имеет конкретное историческое объяснение только в этом и ни в каком ином языке, ср. эвен. *м’ин ~~ж~~эл’э-~~н~~-у* ‘моя пища’ (пример заимствован из книги К.А. Новиковой [Новикова, 1960, с.147]).

Поскольку мы перешли от падежных показателей к притяжательной аффиксации, необходимо отметить прежде всего специфическое звучание негидальского показателя 3-его лица единственного числа *-нин*. Этот аффикс присоединяется к существительным и причастиям только в именительном падеже, во всех же косвенных падежах такое значение передается аффиксом *-н*, совпадающим по звучанию с эвенкийским. Таким образом, лично-притяжательная парадигма оказывается в 3-ем лице единственного числа зависимой от другой парадигмы – падежной. Впервые зависимость формы негидальского лично-притяжательного показателя 3-его лица единственного числа от падежной аффиксации была отмечена К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.151]. Приведем примеры:

онта-нин суксэ-нин ‘его обуви завязки’;

Боха гун-чэ-нин ‘сказанное Бугой’

Есчан делган-дула-н, ичэчэ^ан дели-гда-нин со~~н~~о~~ж~~ойон, бэйэ-~~н~~-н чā~~н~~ила бисин ‘Пришла на его голос, увидела – только голова его плачет, тело его в стороне находится’ (слово *бэйэ-~~н~~-н* ‘его тело’ не в косвенном падеже, тем не менее оформлено аффиксом *-н*, а не *-нин*);

Оли аси-вā-н буйгими моланигди ‘Жену ворона отдать жалко’.

Негидальский притяжательный аффикс 3-его лица единственного числа *-нин* имеет соответствие в солонском языке, в котором «3-е л. в обоих числах в *pominativ'e* *-nini ~ -nĩ* (при основах, оканчивающихся на *n* суфф. *-ini ~ -ĩ*), в остальных падежных формах обычно *-ni*» [Поппе, 1931, с.116]. Интересно, что в языке эвенков-хамниган Маньчжурии, судя по материалам Ю.Янхунена, в притяжательных формах 3-его лица единственного числа после основ, оканчивающихся на согласный, употребляется алломорф *-nin* [Янхунен, 1991, с.73]. А.Ф. Бойцова предложила оригинальное, но довольно сложное объяснение истории возникновения различных вариантов притяжательного показателя 3-его лица единственного числа в тунгусо-маньчжурских языках [Бойцова, 1940, с.119-121]. Суть его в том, что в основе этих вариантов лежит личное местоимение *и* ‘он’, сохранившееся только в маньчжурском языке. По

нашему мнению, негидальский аффикс *-нин*, солонский *-nini* ~ *-nĩ* и хамниганский *-nin* образовались в результате присоединения к древнему показателю 3-его лица единственного числа *-ни* его, так сказать, двойника с отпавшим, а в некоторых тунгусо-маньчжурских языках сохранившимся звуком *и* (т.е. *-ни* + *-н* = *-нин*, *-ни* + *-ни* = *-нини*). В этой связи обратимся к бесспорной этимологии одной солонской аффиксальной морфемы: «В солонском встречается в значении *comitativi* еще очень любопытная форма двойного *instrumentalis* на *-žit*, ср. *ašĩžit* ‘с женой’ (основа *ašĩ-*)» (мы несколько упростили здесь транскрипцию автора) [Поппе, 1931, с.115]. Наличие в солонском двойного творительного подтверждает возможность образования притяжательных показателей 3-его лица единственного числа в негидальском и солонском языках в результате редупликации исходного показателя *-н(и)*. Вероятная причина такой аффиксальной редупликации лежит в глубоких контактах родственных между собой языков, относящихся к разным группам (ветвям) тунгусо-маньчжурской семьи. Если это действительно так, то субстратом для «северных» негидальского и солонского языков явились какие-то «южные» тунгусо-маньчжурские, в которых в отличие от «северных» не отпал звук *и* в исходе морфемы.

Следует отметить, что Г.М. Василевич в описании подкаменно-тунгусского диалекта приводит несколько примеров, иллюстрирующих, по ее мнению, «сохранение конечного *-н* основ и суффиксов» [Василевич, 1948, с.117]. Среди этих примеров есть две словоформы, в которых лично-притяжательный показатель 3-его лица единственного числа представлен в форме, аналогичной негидальско-солонской: *тар̄а-дукин-ин* ‘после того (его случая)’ (в нашей интерпретации: *тар̄а-дуки-нин*); *žũ-дукин-ин* ‘из его юрты’ (в нашей интерпретации: *žũ-дуки-нин*). Необычно здесь то, что в отличие от негидальского и солонского языков аффикс *-нин* сопутствует не именительному, а одному из косвенных падежей (отложительному).

Аналитическое словообразование является приемом безусловно чужеродным для негидальской грамматики с ее доминирующим, по крайней мере в именной сфере, синтетизмом. Заимствование его простой модели коснулось многих языков Приамурского ареала (нанайского, ороцкого, нивхского и т.д.), причем заимствование шло эстафетным путем и, конечно же, с юга: ср. нег. *аси хутэ*, ороц. *аса хитэ*, нивх. *умгу ъла*, нан. *аси пиктэ* с маньчж. *сарган žui* и китайским *nũhaiz* (структурное сходство полное - во всех примерах буквальный перевод будет «женщина ребенок»).

Отголоски этого явления можно обнаружить далеко на севере – в эвенском языке, изменившем порядок следования компонентов конструкции: *нѳв н'ари* ‘мой младший брат’, *нѳн аси* ‘его младшая сестра’, *һупкучимѳъ аси* ‘учительница’ (примеры взяты из книги К.А. Новиковой [Новикова, 1960, с.124-125]). Сам факт наличия такой конструкции в эвенском (пусть и в трансформированном виде) весьма важен для истории этого языка, поскольку

южное происхождение ее не вызывает сомнений и продвижение на север из Приамурского ареала является, пожалуй, единственно возможным ее маршрутом.

В негидальском языке используются отличающиеся от эвенкийских увеличительный и уменьшительный аффиксы. Увеличительный аффикс *-хāйа* ~ *-кāйа* (например, *бэйэ-хэйэ* ‘огромный человек, человечество’) имеет соответствие только в эвенском языке (*-кайа*), откуда он, несомненно, и был заимствован. При этом заимствование имело системный характер, т.е. наряду с увеличительным аффиксом был заимствован и его семантический антипод – аффикс *-ккāн*, выражающий уменьшительное значение.

Особенностью негидальского диминутивного аффикса *-ккāн* является его способность оформлять не только существительные, но и прилагательные (*эгдиНэ* ‘большой’ – *эгдиНэ-ккāн*), местоимения (*ēхун?* ‘что?’ – *ēхун-ккāн?*; *минэвэ* ‘меня’ – *минэ-ккāн-мэ*) и даже причастия (*бичэ* ‘бывший’ – *бичэ-ккāн*).

В именном словообразовании своим неэвенкийским происхождением выделяется аффикс *-нкан*, обозначающий место жительства, например: *селбинкан* ‘житель села Белоглинка’, *эмНункан* ‘амгунец (человек, живущий на берегу Амгуни или вблизи нее)’. Трудно сказать, из какого языка был заимствован негидальским этот аффикс (и был ли он вообще заимствован), имеющийся не только в тунгусо-маньчжурских языках Приамурья (*-нкан/-нка*), но и в эвенском (*-нкāн*).

Негидальский имеет отсутствующую в эвенкийском, но свойственную всем тунгусо-маньчжурским языкам Приамурья (а также орокскому) выделительную форму со значением ‘тот, который...’. В низовском диалекте показателем с таким значением выступает *-нма*, а в верховском – *-тма*. Приведем примеры:

Нэхун-нмэ гунэн: ... ‘Тот, который младше, сказал: ...’;

...*тийэчэ* бэйэ дабдийан, *тийэ-в-чэ-тмэ* дабдайдан ‘...прижавший (придавивший) человек выигрывает, (а) тот, который прижат (придавлен), проигрывает’.

В верховском диалекте аффикс *-тма*, кроме выделительного значения, имеет сравнительное:

Жул пирэстэ или байа-тма ‘Два километра (версты) или больше’.

В эвенкийском языке у соответствующего аффикса *-тмар* (нег. *-нма/-тма* < **-тмāр*) бывает только сравнительное значение (*айа-тмар* ‘лучше’, *гугда-тмар* ‘выше’). Эвенский показатель *-н'мър* (*-дмар*) совмещает «указательно-выделительное» значение со сравнительным [Новикова, 1960, с.119-120], что наблюдается, кстати, еще не только в верховском диалекте негидальского, но и, например, в орокском языке: *Мин Ниндаби син НиндаЖиси улиНгадума* ‘Моя собака лучше твоей собаки’ (пример из работы Т.И. Петровой [Петрова, 1968, с.178]).

В негидальском языке встречается аналитическая форма прилагательного, обозначающая неполную степень проявления признака, например: *сагди-ла биси* ‘староватый’ в предложении *Тай эдэ³н амНадуккин хэтэхэснэккэ бэйэл – коНахан-да бэйэ бисин, сагдила̄ биси бэйэ-да бисин* ‘Из пасти того кита (касатки) «понавыпрыгивали» люди: и молодые люди, и постарше люди’. Аналогичная категория «неполной или усиленной степени признака» (суффикс *-ла ~ -лэ*) свойственна нанайскому качественному наречию, от которого образуется «отнаречное прилагательное с помощью вспомогательного причастия *би*, например: *сагди* ‘старый’ → *сагдила* ‘постарше, старовато’ → *сагдила би* ‘староватый’...» [Аврорин, 1959, с.208]. Аналогичная форма имеется в орокском [Петрова, 1967, с.62] и ульчском [Суник, 1985, с.37] языках.

Также аналитическим способом образуются некоторые имена прилагательные в низовском диалекте, приведем несколько примеров, постоянно встречающихся в речи Д.Л.Кини (усть-амгуньский говор): *тӣ ойи* ‘такой (букв.: так становящийся)’; *тӣ ойиккан* – то же самое, но со значением диминутивности, выраженной аффиксом *-ккан*, который присоединен к служебному компоненту аналитической конструкции; *аНиски ойи* ‘иной, другой, не такой (букв.: иначе становящийся)’. Интересно, что аналитическое слово *аНиски ойи* имеет явную тенденцию к объединению обоих компонентов в результате сандхи, вообще, кстати, свойственного негидальской речи (т.е. *аНиски ойи* > *аНискойи*, ср. *асамаха* ‘медведица’ < *аси амаха* и т.п.).

Негидальские имена прилагательные (или, точнее, те слова, которые на русский язык переводятся как прилагательные) могут в весьма редких случаях нарушать незыблемый общеалтайский закон препозитивности любых определений (инверсия в расчет не принимается). При этом постпозитивное определение обязательно бывает связано с определяемым при помощи отражения (изафета), например:

Тай бухачанду дэ³уи эгди-нин ‘На том острове **птиц много** (букв.: птица множество-ее)’;

Эй долбонду хē³уин ма³ҕа-нин о³жāн ‘Этой ночью будет **сильная буря** (букв.: буря «сильность»-ее)’;

дэ³уи эгди³ҕэ-нин ‘**большая птица** (букв.: птица величина-ее)’.

В приведенных примерах постпозиция определений случайно или скорее закономерно связана с особенностью лексической семантики таких определений – они выражают нечто большее, сильное, многочисленное. К сожалению, такого рода примеры с постпозитивным определением встречаются в текстах очень редко, поэтому говорить о какой-либо закономерности в этом плане явно преждевременно.

Из тунгусо-маньчжурских языков лишь ороцкий имеет такие необычные постпозитивные определения: «Определения, выраженные прилагательными,

могут препозитивно примыкать к определяемым, например: *aja n'æ* 'хороший человек', *сагди мамачā* 'старая старуха', *эгди усэктэ* 'много зверей (многочисленный зверь)'. Но возможно и постпозитивное расположение определения, причем в этом случае оно обязательно приобретает лично-притяжательную форму 3-го лица, например: *n'æ ajan'u*, *мамача сагдин'u*, *усэктэ эгдин'u* (с теми же значениями)» [Аврорин, 1968, с.207].

Типологические параллели оро́чско-негидальским постпозитивным определениям, связанным с определяемым при помощи изафета, можно найти далеко на востоке и далеко на западе. Так, в алеутском языке русскому словосочетанию 'новый дом' соответствует *улам тагадā* (графемой *д* здесь обозначен интердентальный звук), что буквально переводится как 'дóма новизна-его' [Меновщиков, 1968, с.393]. Отличие от негидальского и оро́чского языков заключается в данном случае в том, что препозитивное определяемое имеет форму относительного падежа (аффикс *-м*).

В иранских языках, например, в таджикском тот же самый смысл ('новый дом') передается словосочетанием, в котором определение также находится в постпозиции по отношению к определяемому, причем оба слова связаны посредством изафета: *хона-и нав* (в таджикском языке показатель изафета *-и* присоединяется не к определению, а к определяемому) [Керимова, 1966, с.215-216].

Личные местоимения в верховском диалекте негидальского языка мало чем отличаются от эвенкийских, однако низовской его диалект (причем в большей степени усть-амгу́ньский говор) обнаруживает некоторые оригинальные особенности этой крайне немногочисленной, но исключительно важной группировки слов.

Инклюзивная форма личного местоимения 1-ого лица множественного числа подвержена существенному варьированию как в целом в тунгусо-маньчжурской языковой семье, так и в отдельно взятом ее представителе – негидальском языке. По всей видимости, такое варьирование свидетельствует об относительно позднем появлении в тунгусо-маньчжурских языках самой категории инклюзива и, соответственно, противопоставления инклюзивных форм ('мы с вами, мы с тобой') эксклюзивным ('мы без вас, мы без тебя').

В верховском диалекте негидальского языка, судя по нашим материалам, употребляется только местоимение *бит* 'мы с вами, мы с тобой', в низовском же диалекте наряду с *бит* встречается *битта*, в усть-амгу́ньском говоре иногда заменяемое на *бутта*. Трудно сказать, что представляет собой элемент *-та* в местоимении *битта* (*бутта*). Вполне может быть, что мы слышим звук *а* там, где «на самом деле» долгий *э̃*, который в негидальском языке и особенно в его низовском диалекте произносится значительно ближе к *ā*, чем к *э̃*. Нельзя также определенно сказать, существует ли какое-нибудь отличие в употреблении местоимений *бит* и *битта*; в текстах, записанных нами от Е.М. Самандиной(Бобик), встречаются оба эти местоимения, причем *бит* вроде бы

чаще, чем *битта*. Хотелось бы подчеркнуть, что инклюзивное местоимение в форме *битта* (*бутта*) относится к числу уникальных особенностей негидальского языка, т.е. таких, которые не отмечены ни в одном другом представителе тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Кстати, такого рода уникальных явлений в негидальском языке сравнительно мало, но они представляют исключительный интерес. В большей степени они обнаруживаются в лексике, меньше их в грамматике и, вероятно, еще меньше в фонетике. Что касается морфологических «уникалий» негидальского языка, то далее мы будем стараться делать на них акцент, хотя, повторим, встречаются они очень редко и к тому же очень непросто убедиться в том, что прочим тунгусо-маньчжурским языкам подобные явления не свойственны.

Интересная инновация коснулась в обоих негидальских диалектах личного местоимения 3-его лица множественного числа: в именительном падеже вместо ожидаемого **ноҢалтин* (ср. эвенк. *нуҢартин*) негидальский дает *ноҢатил*, хотя в косвенных падежах отличия от эвенкийского языка только фонетические (винительный падеж: нег. *ноҢал-ба-тин* – эвенк. *нуҢар-ба-тин*; дательноместный падеж: нег. *ноҢал-ду-ти* – эвенк. *нуҢар-ду-тин* и т.д.). Суть инновации в форме *ноҢатил* заключается в том, что показатель множественного числа -л- был, так сказать, передвинут в исход слова: **ноҢа-л-тин* > *ноҢати-л*. Замена *н* на *л* для образования множественного числа так же характерна для негидальского языка, как замена с той же целью *н* на *р* в эвенкийском языке. Надо сказать, что в результате такой перестановки показателя множественного числа произошло переразложение и у негидальского местоимения 3-его лица множественного числа в именительном падеже образовалась новая основа *ноҢати-*. В косвенных падежах основой является *ноҢа-*, к ней присоединен показатель множественного числа, после него находится падежный аффикс, замыкает эту цепочку морфем, казалось бы, совершенно излишний в данном случае притяжательный показатель 3-его лица множественного числа (напомним, как это выглядит: *ноҢа-л-ду-тин* ‘им’ и т.д.).

Итак, в негидальском местоимении 3-его лица множественного числа показатель числа не просто сохранился, но еще и переместился в исход слова, где он более заметен. Удивительно, что при этом определительно-возвратное местоимение *мэ́нэхэ́н* ‘сам, сами’ в низовском диалекте негидальского языка не имеет формы множественного числа, как, например, его эвенкийский эквивалент, встречающийся в некоторых диалектах (*мэ́нэхэ́н* ‘сам’ – *мэ́нэхэ́р* ‘сами’). В верховском же диалекте негидальского языка определительно-возвратное местоимение изменяется, хотя и не совсем так, как в эвенкийском, ср. нег. верх. *мэ́нтин* ‘(они) сами’ с эвенк. *мэ́ртин* с тем же значением.

Негидальские личные местоимения 1-ого и 2-ого лица единственного и множественного числа имеют некоторые отличия от соответствующих эвенкийских в двух падежах: в направительном и винительном. Речь идет, собственно говоря, о модификациях основы, к которой присоединяются показатели этих падежей. В низовском диалекте негидальского языка в отличие

от верховского аффикс *-тки* наращивается для образования направительного падежа личных местоимений не к основам *мин-*, *син-*, *мун-*, *сун-*, а к основам *минэ-*, *синэ-*, *мунэ-*, *сунэ-*, т.е. *минэ-тки* (а не *мин-тики*) 'ко мне', *синэ-тки* (а не *син-тики*) 'к тебе', *мунэ-тки* (а не *мун-тики*) 'к нам', *сунэ-тки* (а не *сун-тики*) 'к вам'. Таким образом, основы *минэ-*, *синэ-*, *мунэ-*, *сунэ-* используются в низовском диалекте для образования как винительного (*минэ-вэ*, *синэ-вэ*, *мунэ-вэ*, *сунэ-вэ*), так и направительного падежей. Впрочем, формы винительного падежа образуются таким способом не у всех говорящих на низовском диалекте. В усть-амгуньском говоре, судя по речи Д.Л. Кини, употребляются несколько иные формы винительного падежа личных местоимений 1-ого и 2-ого лица, например: *минава* 'меня', *сунава* 'вас'. Именно так мы их зафиксировали в наших экспедиционных записях, но если бы вторым гласным на самом деле был *а* (или *ā*), то первыми, согласно живому закону негидальской фонетики, должны быть *е* (т.е. *менава*) и *о* (т.е. *сонава*). Однако поскольку первым гласным определенно является *и*, то и вторым должен быть *э*, который, как мы уже отмечали, на слух нелегко отличить от *а* (или *ā*). Итак, можно думать, что изменения гармонии гласных в данных словоформах не происходит. Тем не менее совершенно очевидно наличие еще одной, уже четвертой, основы личных местоимений 1-ого и 2-ого лица в усть-амгуньском говоре низовского диалекта негидальского языка (*би*, *мин-*, *минэ-*, *минэ̄-* (или на слух *минá-*). В связи с возникшим здесь противоречием между слуховым восприятием и теоретически ожидаемым звучанием хотелось бы упомянуть необычные для удэгейского языка формы, обнаруженные Т. Цумагари: в винительном падеже местоимений 1-ого и 2-ого лица единственного и множественного числа вместо известных по работе Е.Р. Шнейдера форм (*minəwə* 'меня', *supəwə* 'вас' и т.д. [Шнейдер, 1936, с.106]) Т. Цумагари приводит соответствующие словоформы с иной гармонией гласных, например: *minawa* 'меня', *supawa* 'вас' [Tsumagari, 1997, p.85]. В грамматическом очерке, являющемся приложением к «Краткому удэйско-русскому словарю», Е.Р. Шнейдер приводит парадигму склонения указательного местоимения *əji* 'этот' [Шнейдер, 1936, с.109]; самое интересное заключается в том, что в винительном падеже в этом указательном местоимении так же, как и в личных (по материалам Т. Цумагари), меняется гармония гласных, а именно: вместо ожидаемой формы *əwə* Е.Р. Шнейдер дает форму *awa*, которая вполне согласуется не только с записанной Т. Цумагари формой *minawa* 'меня' или, например, *supawa* 'вас', но также с негидальскими усть-амгуньскими *минава* 'меня' и *сунава* 'вас'. Причина таких изменений, как мы думаем, заключается в том, что во всех подобных словоформах гласный *э* во втором слоге был некогда долгим и при этом довольно близким по звучанию к *а* (или *ā*). Последнее обстоятельство и обусловило звуковое изменение: замену «э-гармонии» в указанных словах на «а-гармонию». Следует при этом отметить, что в отличие от негидальского языка современному удэгейскому «аканье» (т.е. произнесение долгого *э* почти как *а*) совершенно не свойственно.

В усть-амгуньском говоре есть и другие особенности в склонении личных местоимений. В речи Д.Л. Кини возможны словоформы *сунэ̃^албэ* ‘вас’, *сунутки* ‘к вам’. Появление показателя множественного числа (*сунэ̃^а-л-бэ*) в местоимении 2-ого лица не имеет аналогий в тунгусо-маньчжурских языках и является неожиданной и странной новацией усть-амгуньского говора. Что касается словоформы *сунутки*, то в ней мы видим новую модификацию основы местоимения 2-ого лица множественного числа (*сү̃*, *сун-*, *сунэ̃^а-* (*суна-*), *суну-*). Такая «многоосновность» явно противоречит принципам агглютинации, внося свою лепту в ее медленное если не разрушение, то расшатывание. Однако об этом можно рассуждать лишь в теоретическом плане, поскольку на практике усть-амгуньский говор, к сожалению, обречен на очень скорое исчезновение, так что постепенное разрушение агглютинации ему уже никак не угрожает.

Особенностью негидальских местоимений 1-ого и 2-ого лица (кроме инклюзивного), а также возвратного является наличие притяжательной формы, обычно совпадающей с основой косвенных падежей этих местоимений (*мин* ‘мой’, *син* ‘твой’, *мун* ‘наш’, *сун* ‘ваш’, *мэ̃н* ‘свой’). Такая форма отсутствует в эвенкийском языке, в негидальском же она есть лишь в низовском диалекте. Употребляется эта форма только в качестве первого (атрибутивного) компонента в изафетной конструкции (в конструкции отражения, согласно В.А.Аврорину), например: *мин хутэ-в* ‘мой ребенок (букв.: мой ребенок-мой)’, *син ж̃о-с* ‘твой дом (букв.: твой дом-твой)’ и т.д. В текстах на низовском диалекте, записанных от Е.М.Самандиной(Бобик), нам нередко встречался иной вариант этой конструкции, отличающийся формой своего первого компонента: *би хутэ-в* ‘мой ребенок (букв.: я ребенок-мой)’, *си ж̃о-с* ‘твой дом (букв.: ты дом-твой)’ и т.д. Надо сказать, что в верховском диалекте негидальского, как и в эвенкийском языке, представлен только последний вариант (*би хутэ-в*). В низовском же диалекте мы не заметили каких-либо отличий в употреблении обеих разновидностей данной конструкции.

Иногда в текстах, продиктованных нам Е.М. Самандиной, вместо форм *мин*, *син*, *мун*, *сун*, *мэ̃н* встречаются *мини*, *сини* и т.п.

Совпадающие с основой косвенных падежей притяжательные формы личных местоимений 1-ого и 2-ого лица (а также возвратного местоимения) употребляются, кроме негидальского, также в эвенском, орокском и ульчском языках; при этом по звучанию и значению такие формы не отличаются в названных языках от негидальских, т.е. *мин* ‘мой’, *син* ‘твой’ и т.д. Интересно, что в орокском и ульчском, как и в негидальском, иногда употребляются полные варианты местоименных притяжательных форм. Например, в архивных материалах А.Н. Липского по ульчскому языку наряду с формой *мин* имеется форма *мини* (у А.Н. Липского *mini*) [Липский, д.71, л.91 оборот]. В ульчских текстах, записанных О.П.Суником, в некоторых случаях вместо *мэ̃н* ‘свой’ можно обнаружить *мэ̃ни* [Суник, 1985, с.82, 83 и др.]. В орокском (уильта) словаре Дз.Икэгами встречаются притяжательные формы *mini* ‘мой’, *sini* ‘твой’ [Ikegami, 1997, p.4, 9, 21,23 и др.].

Полагаем, что образование кратких притяжательных форм местоимений (*мин*, *син* и т.д.) в негидальском, эвенском, орокском и ульчском языках объясняется действием закона отпадения кратких узких гласных (этот закон сформулировала В.И. Цинциус [Цинциус, 1949, с.125-130]). Как принято считать, такой закон распространяется лишь на эвенкийский, эвенский, негидальский и с некоторыми оговорками на солонский, т.е. на языки, относящиеся к северной ветви тунгусо-маньчжурской генетической общности. Однако в действительности все не так просто: в негидальском нередко бывает факультативный звук *и* там, где его вроде бы не должно быть, а в орокском и особенно в ульчском наоборот – звук *и* иногда исчезает в тех словах, где он должен быть. Именно так обстоит дело с полными и краткими притяжательными формами местоимений в негидальском, ульчском и орокском языках, эвенский же в этом отношении совершенно последователен и имеет только краткие притяжательные формы.

Полные притяжательные местоименные формы несомненно являются первичными, исходными по отношению к кратким, так как объяснить исчезновение конечного звука *и* можно, а его возникновение – нельзя. Что же первоначально представляли собой формы *мини* ‘мой’, *сини* ‘твой’, *муни* ‘наш’, *суни* ‘ваш’, *мэни* ‘свой’? Мы уверены, что по происхождению это формы родительного падежа, из всех тунгусо-маньчжурских языков сохранившегося от праязыкового состояния только в чжурчжэньском и маньчжурском (родительный падеж в солонском [Поппе, 1931, с.112] и в языке эвенков-хамниган [Janhunen, 1991, p.62] является инновацией, причем его показатель этимологически не связан с аффиксом родительного падежа в маньчжурском и чжурчжэньском языках). В маньчжурском вместо отсутствующей в нем притяжательной аффиксации используется (а в давно уже не существующем чжурчжэньском языке использовался) родительный падеж с показателем *-и* (после *н* в чжурчжэньском и после *н* в маньчжурском выступал/выступает алломорф *-ни*). Например, форма родительного падежа местоимения первого лица единственного числа и в чжурчжэньском, и в маньчжурском будет *мини*, т.е. она звучит точно так же, как полная притяжательная местоименная форма с тем же значением в негидальском (в низовском его диалекте), ульчском и орокском языках.

Отметим некоторые отличия негидальских числительных от эвенкийских. Начнем с того, что негидальское числительное *ийэ ъин* ‘девять’ сохранило более раннюю форму, из которой в результате отпадения начального гласного образовалось эвенкийское *йэ ъин* с тем же значением (**куйэ-ъун* > **хуйэ ъун* > **уйэ ъун* > **ийэ ъин* > **йэ ъин*).

Уникальной особенностью негидальского языка является способ образования числительных третьего десятка. Сам способ (от один, от два, от три и т.д.) вовсе не оригинален – необычно то, что в негидальском языке он служит для образования числительных не второго, а третьего десятка,

например: *ойин-дуккэй эмэн* ‘двадцать один (букв.: от двадцати один)’, *ойин-дуккэй ǰл* ‘двадцать два (букв.: от двадцати два)’, *ойин-дуккэй елан* ‘двадцать три (букв.: от двадцати три)’ и т.д. до двадцати девяти включительно.

В негидальском языке есть особые формы числительных, отсутствующие в эвенкийском: *ǰу-Һэсэл* ‘вдвоем’, *ǰу-ккэл* ‘только два, только вдвоем’, *эмэ-ккэн* ‘только один’. Вероятно, аффиксы *-Һэсэл* и *-ккэл* могут присоединяться и к другим числительным, но в записанных нами текстах таких форм вроде бы нет.

Аффикс *-Һэсэл* имеет соответствия в нанайском (*-тонгаса/-тунгэсэ*, впрочем, наряду с этой формой употребляются также *-тонга/-тунгэ* и *-тол/-ту* [Аврорин, 1959, с.237]), орокском (*-туҢаса/-туҢэсэ* [Петрова, 1967, с.77], *-туҢга/-туҢэз*, *туҢаса(л)/-туҢэсэ(л)*, *-туҢаса ǰѣри/-туҢэсэ ǰѣри* [Новикова, Сем, 1997, с.209]), в удэгейском (*-Һаһа/-Һэһэ* [Суник, 1967, с.219]; О.П. Суник фарингальный щелевой обозначает иначе) и ороческом (*-Ңаса/-Ңэсэ* [Аврорин, Лебедева, 1967, с.200]). Как видим, негидальский аффикс *-Һэсэл* ближе всего стоит к ороческому и удэгейскому, что указывает наряду с прочими фактами на возможность в прошлом прямых языковых контактов между предком негидальского и языком типа ороческого или удэгейского.

Что касается аффикса *-ккэл* в ограничительном числительном *ǰу-ккэл* ‘только два, только вдвоем’, то, с одной стороны, он имеет соответствие опять же в ороческом языке (*-кка/-ккэ/-кко* [Аврорин, Лебедева, 1967, с.200]), а с другой – он скорее всего происходит от уменьшительного показателя *-ккан* в форме множественного числа (ср. *эмэ-ккэн* ‘только один’). При этом, правда, непонятно, почему в числительном *ǰу-ккэл* ‘только два, только вдвоем’ в наших записях нет указания на увулярный характер удвоенного согласного, в то время как в числительном *эмэ-ккэн* ‘только один’ увулярность была слышна совершенно отчетливо.

О том, что уменьшительное значение может быть связано с ограничительным (‘только...’), свидетельствует возникший в результате объединения двух аффиксов негидальский показатель *-гдаккан*, встречающийся в усть-амгунском говоре и означающий ‘только’. Этимология его прозрачна: аффикс *-гда-* со значением ‘только’ + уменьшительный аффикс *-ккан*. Составной аффикс *-гдаккан* занимает, по-видимому, только конечную позицию в слове, т.е. после словоизменительных показателей, что дает основание видеть в нем скорее частицу, например: *дэҢси-йи-гдэккэн* ‘только работающий’, *даксун-мэ-гдаккан* ‘только соль’ (винительный падеж; обе словоформы не из текстов, они были сконструированы нами и не были зафиксированы нашим информантом Д.Л. Кини (правда, к такого рода лингвистическим экспериментам мы прибегали лишь в исключительных случаях)).

Возможно, в негидальском языке есть разряд числительных, обозначающих не точное, а приблизительное количество; мы обнаружили пока лишь один пример такого рода:

Тайил хутэтин эмэн коҢахан бичэң, н’уҢун-мэл анҢанилкан ‘Сыном их был мальчик приблизительно шести лет’.

Аффикс *-вэл* (назализованный вариант *-мэл*) несомненно связан с частицей, имеющей значение неопределенности (например: *õхин-мал* ‘когда-нибудь’); ср. также *илэ̃^албэл* ‘куда-нибудь’ и *нилбэл* ‘кто-нибудь’ (очевидно, здесь аффикс несколько иной – *-лбэл*).

В негидальском языке, как и в других тунгусо-маньчжурских, прослеживается тенденция конкретизации счета морфологическими средствами. Правда, по-негидальски невозможно, как по-эвенкийски, одним словом сказать, например, ‘три дома (три хозяйства) вместе’, ‘два направления’, ‘три слоя’, однако можно сказать ‘семь дней’ (*надала* < *нада(н)* + *-ла*), ‘три дня’ (*елала* < *ела(н)* + *-ла*) и т.д.

ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВА

Начнем с некоторых отличий негидальского языка от наиболее ему близкого в генетическом отношении эвенкийского в области глагольного основообразования, точнее, деривативного формообразования (термин «деривативное формообразование» был предложен В.А. Аврориным [Аврорин, 1959, с.77]), т.е. залогов, видов, пород (последний термин также принадлежит В.А.Аврорину [Аврорин, 1961, с.59]).

В негидальском языке имеются следующие залого: действительный, побудительный, страдательный-1, страдательный-2 и взаимный.

Побудительный залог выражается в негидальском языке (как и в эвенкийском) показателем *-вк̄ан* (в низовском диалекте негидальского иногда встречается его ассимилированный вариант *-кк̄ан*). Диапазон семантического варьирования побудительного залога в негидальском, как и в прочих тунгусо-маньчжурских языках, очень широк. Приведем лишь два примера с несколько необычными значениями этой залоговой формы:

Туйгэнжй сйксэ-йги-вк̄э-чи-м эдив эмэйгидэн ‘Скорей бы вечер наступил, чтобы мой муж пришел’ (как бы тороплю время, «подгоняю» вечер, чтобы он скорее наступил);

Эй сусу буҕаду хуйилби õни би-вк̄эн-жэ-м? ‘Как допущу, чтобы мои дети жили на сусу (в вымершей деревне)?’

В негидальском языке страдательный-1 залог (показатель *-в-*) нередко оправдывает свое название, так как при этом залоге пациенс обычно испытывает на себе неблагоприятное воздействие со стороны конкретного или неопределенного агенса, например:

Тай акнилси амбанду жэту-в-чэ̃^а-тин ‘Те твои старшие братья чертом (букв.: черту) были съедены’;

Эй долбонду асихан имуксэНҢ̄^ан жойомотчидуй иктэ-в-чэ̃^а-с ‘Этой ночью, когда (ты) воровала принадлежащее женщине сало, (ты) была побита’.

В публикуемых в данной книге текстах (в последнем предложении текста № 46) есть один исключительно ценный пример употребления страдательного-1

залога в негидальском языке:

... бэйҢвэ вай̄ан мэ̄нмэй чопал ̄жэу-в-чэ̄-л '... убив зверя, сами оказались убитыми (букв.: себя все дали съесть, невольно позволили себя съесть, т.е. убить)'.

Такой синкретизм каузатива и пассива дает возможность понять взаимоотношение этих категорий в историческом аспекте. По всей вероятности, тунгусо-маньчжурский пассив возник на основе обладающего весьма широким семантическим спектром каузатива. В приведенном примере мы видим бесспорную реализацию валентности каузативного глагола (кто-то кому-то себя невольно дал съесть) и в то же время это самый настоящий пассив. Именно о подобном синкретизме грамматической семантики применительно к маньчжурскому языку писал В.А. Аврорин: «Особенно широк диапазон оттенков у значения побудительности: от активного навязывания (возможно, с преодолением сопротивления) воли субъекта до почти пассивного допущения, согласия (возможно, с элементом капитуляции) на совершение действия. Основа кадалабу- значит и 'велеть, приказать, заставить управлять', и 'поручить управление, побудить к нему', и 'допустить управление, согласиться на него, дать (кому-то) управлять'. Если иметь в виду «управление» субъектом, что вполне возможно ('дать управлять собой'), то отсюда один шаг до оттенка страдательности ('быть управляемым, дать управлять собой'). Как видим, «побудительность» для языкового сознания маньчжура почти незаметно переходит в «страдательность»» [Аврорин, 2000, с.179]. При этом необходимо напомнить, что в маньчжурском языке значения побудительности и страдательности передаются одним и тем же показателем -бу-. В.А. Аврорин полагал, что в этих значениях следует видеть «... не омонимы, а оттенки одного общего грамматического значения, одну грамматическую категорию, которую следует именовать побудительно-страдательным залогом» [Аврорин, 2000, с.179-180].

В отличие от маньчжурского в негидальском языке пассив (имеется в виду страдательный-1 залог) и каузатив выражаются разными, хотя и этимологически безусловно связанными показателями (как мы уже отметили, пассив (страдательный-1) имеет показатель -в- (< *-ву-), а каузатив – -вк̄ан- < *-ву-к̄ан-). В эвенском языке для выражения тех же значений используются практически те же показатели [Новикова, 1980, с.55, 56], при этом «... в эвенском языке представлена особая «гибридная» глагольная категория – адверсатив (адверсативный пассив), обнаруживающая промежуточное положение между пассивом, с одной стороны, и пермиссивом, с другой. Эти данные проливают свет на природу корреляции между пассивом и каузативом...» [Мальчуков, 2002, с.16]. Таким образом, и эвенскому языку (пожалуй, даже в большей степени, чем негидальскому) в определенных случаях свойствен синкретизм пассива и каузатива.

Страдательный-1 отличается в негидальском языке от страдательного-2 (аффикс -н-, но иногда также -в-) тем, что первый имеет отношение к действиям,

а второй – к состояниям, наступившим или наступающим как результат обозначенного глагольной основой действия. Такая формулировка основана на том, как понимает сущность страдательного залога в нанайском языке В.А. Аврорин: «... характерная черта страдательного залога состоит в том, что он представляет активное действие преобразованным в пассивное состояние» [Аврорин, 1961, с.40]. Например, в предложении со страдательным-1 залогом *Тай бэйэл амбанду ǂэпу-в-чэ̄-тин* ‘Те люди чертом были съедены (т.е. убиты)’ речь идет о действии, предполагающем наличие как агенса, так и пациенса, а в предложении со страдательным-2 *Уйкэ н’й̄-п-пэ-н* ‘Дверь открылась’ – о состоянии, наступившем в результате самопроизвольного или якобы самопроизвольного действия (т.е. подразумевается наличие только пациенса). Примечательно, что в нанайском языке имеется лишь такой страдательный залог, который соответствует негидальскому страдательному-2.

Интересно, что страдательный-2 как самостоятельная залоговая форма представлен не только в амурских тунгусо-маньчжурских языках (в частности, в нанайском), но и в эвенском (аффикс -б- ~ -п-), где он именуется возвратным залогом [Новикова, 1980, с.54-55]. Заслуживает внимания то, что не только в нанайском, но также в орокском, ороческом и, скорее всего, в ульчском есть страдательный-2, но нет страдательного-1. В эвенкийском страдательный-1 и страдательный-2 обычно совпадают в одной форме («страдательно-возвратный» залог в работе О.А. Константиновой [Константинова, 1964, с.154-155]). В трех же тунгусо-маньчжурских языках – в эвенском, негидальском, а также, по-видимому, в удэгейском система залоговых форм удивительно похожа хотя бы потому, что в них употребляются как страдательный-1, так и страдательный-2, которые имеют специальные показатели (правда, негидальский в силу генетической инерции в некоторых случаях формально не различает, подобно эвенкийскому, страдательный-1 и страдательный-2, используя вместо аффикса -п- аффикс -в-; например, фразы *Уйкэ н’й̄-п-пэ-н* ‘Дверь открылась’ и *Уйкэ н’й̄-в-вэ-н* имеют одинаковый смысл).

Приведем примеры употребления страдательного-2 в негидальском языке:

Тихэ̄^ан иҥн’актадун ǂухэ нэ-п-пэ-н ‘Так к его (медведя) шерсти лед пристал (налип)’;

Тайиҥнин эсин ти-п-пэ ‘Тот (его) не погружается (в воду)’;

ǂаханин хулэ-п-чэ̄^а-н бэйэ нэхундун ‘Его богатство осталось у младшего брата человека’;

Асаткан ама-п-ча ‘Девушка потерялась’;

Хāнин боуала сā-п-ни бичэ̄^ан ‘В некоторых местах было заметно (давало о себе знать)’;

Тоуо гу-п-пэ-н ‘Огонь погас’;

Эсин гү-п-пэ ‘Не выговаривается (слово)’.

Негидальский взаимный залог имеет показатель -мāт- (-мāчи-). Приведем примеры его употребления:

Таду-мах эхинми нэхунми сā-йги-мāт-чā-тин. Гэ тадуккэй эхинǂий нэхунǂей

сā-мāчи-ли-(й)ги-чā-тин ‘Тут же (тогда же) старшая и младшая сестры друг друга узнали. Ну, потом старшая и младшая сестры друг друга узнали’ (заслуживает внимания позиция показателя залога в обеих словоформах);

Делмāчинду Жул бэйэл Жавалди-мāт-ча он’опун он’опундуккэй ‘При борьбе два человека берут друг друга за ремни’ (в словоформе *Жавалди-мāт-ча* ‘берут друг друга’ показателю взаимного залога *-мāт-* предшествует вышедший (или выходящий) в негидальском языке из употребления, но продолжающий использоваться в эвенкийском аффикс совместного залога *-лди-*);

Аңга тай кудэлмэҢҢи Жайа-мат-нахан ЖэбЖэми бисин ‘Анга (имя девушки) ту юколу пряча от других (от мачехи и ее дочери), ест’ (взаимность действия приобретает здесь парадоксальный характер, обусловленный семантикой глагола ‘прятать’ (кто-то что-то от кого-то, а не с кем-то и не друг друга));

Балдими туй-да Жалуппихин, мэ^ан мэ^ан инҢактавай Жэм-мэчи-л-Жā-тин ‘Когда (звери слишком) размножатся и земля заполнится, то (от голода они) будут есть друг у друга шерсть’ (исполнительница фольклорного произведения пояснила – «всю траву съедят и тогда начнут друг у друга шерсть есть»; так же, как и в предыдущем предложении, мы видим здесь весьма своеобразное употребление взаимного залога: животные не друг друга съедят, а съедят шерсть друг у друга (т.е. кто-то что-то друг у друга)).

Что касается негидальских видов (большая часть которых представляет собой то, что ныне обычно называют способами действия) и их отличий от видов в эвенкийском языке, то самое существенное отличие заключается в функционировании формы на *-Жа-*. В эвенкийском это, пожалуй, единственная форма собственно вида, который Л.М.Горелова предложила называть не несовершенным, как это было принято, а длительным [Горелова, 1979, с.41]. По-видимому, это справедливо и для негидальского языка, однако, во-первых, видовая форма на *-Жа-* имеет в нем весьма ограниченное применение, а во-вторых, она никогда не используется, как это постоянно бывает в эвенкийском, в качестве, так сказать, сопоказателя (в составе «синфикса») настоящего времени (ср. нег. *вā-йа-н* ‘убил, убивает’ с эвенк. *вā-ра-н* ‘убил’ и *вā-Жа-ра-н* ‘убивает’, где синфикс *-Жара-* передает значение настоящего времени).

Другой важной особенностью негидальского языка, неизвестной эвенкийскому, является наличие вида (способа действия) с аффиксом *-йги-* (в верховском диалекте *-дги-*, причем звук *д* в данном случае ретрофлексный), имеющего значение повторного или обратного действия [Цинциус, 1982, с.23]. Присоединяясь к глагольным основам, оканчивающимся на *-н*, аффикс *-йги-* (*-дги-*) утрачивает свой первый согласный, но при этом звук *г* не оказывает ассимилирующего воздействия на предшествующий *н* и в результате получается нехарактерное для тунгусо-маньчжурских языков звуко сочетание *нг*, например: *āсингичāн* (*ā-син-ги-чā-н*) ‘заснул’. «Выпадение» первого согласного в аффиксе *-йги-* (*-дги-*) происходит также после губных звуков *в* и *м*: *эмэвгихэн* (*эмэ-в-ги-хэн*) ‘принесите’, *самгича* (*сам-ги-ча*) ‘закрыл’. Само наличие

алломорфа *-ги-* было отмечено предыдущими исследователями [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.176; Колесникова, Константинова, 1968, с.118]; по всей видимости, именно этот элемент *-ги-* первоначально и выражал идею четности или парности, которая лежит в основе грамматического значения видового показателя *-йги-/дги-*.

Вид повторного и обратного действия употребляется в речи негидальцев очень часто и иногда даже начинает казаться, что в некоторых случаях он не придает глагольному слову никакого дополнительного значения, например:

Селавун й̄-й̄ги-ч̄, Нуну-ч̄. Эхинин эм̄-й̄ги-й̄-н, м̄овва эм̄-в-ги-й̄-н. Ж̄олай й̄-й̄ги-ч̄ ‘Рожон **вышел**, обратно **пошел**. Сестра **вернулась**, дров **принесла**. В свой дом **вошла**’.

В приведенном фрагменте фольклорного текста на девять слов приходится пять случаев употребления вида повторного и обратного действия, при этом в словоформе *Нуну-ч̄* ‘обратно пошел; пошел (вернулся) туда, откуда пришел’ видовое значение выражено не аффиксальным способом, а путем исторически обусловленного изменения гласных корня (*Нуну-* < **Нэ̄нү-* < **Нэнэ-ху-*).

Часто вид на *-йги-* выражает то же самое значение, что и наречия *н̄ан* ‘опять’ и *амаски* ‘назад’, которые, стало быть, могут лексически дублировать то, что уже выражено морфологически, например:

Гэ н̄андахан-ти м̄э̄нми б̄эб̄э-ли-й̄ги-ч̄ ‘Опять себя начал убаюкивать’;

Тин̄'эхэн амаски й̄-й̄ги-ч̄-н ‘Потом обратно вышел’.

Вид повторного и обратного действия активно используется в ульчском, нанайском, орокском, ороческом и удэгейском языках. Нам казалось, что в негидальский он был заимствован из языка типа ороческого или удэгейского, где его показатель звучит довольно близко к негидальскому (*-ги-* < **-рги-*). Однако и эвенский язык не лишен аналогичного по значению и происхождению показателя (*-рг̄-* < *-рги-*, ср. нег. *-й̄ги-/дги-* < *-рги-*), хотя оформляет он лишь несколько глаголов, таких, например, как *б̄эрг̄-* ‘возвратить’, *эм̄эрг̄-* ‘возвратиться’ [К.А.Новикова, 1980, с.33]. Отметим, что примерно то же наблюдается и в солонском языке, в котором сходный по значению и звучанию аффикс *-rḡ-* можно обнаружить по крайней мере в двух глаголах (один означает ‘вернуть’, а другой – ‘вернуться’, т.е. фактически те же самые глаголы, что и в эвенском) [Поппе, 1931, с.45, 49; коррективы в перевод с солонского внесены авторами данной работы].

Видом (способом действия), чем-то напоминающим залог, является обнаруженная нами в низовском диалекте негидальского языка форма на *-нак-* с так называемым дистрибутивным значением (в эвенкийском соответствующий по значению вид имеет показатель *-тӣ-*). Эта форма у непереходных глаголов означает участие в совершении действия всех наличных в данной ситуации субъектов, а у переходных глаголов – распространение действия на все наличные в данной ситуации прямые объекты, например:

Амисси асаткандуви га-нак-чахи-нин ... ‘«Понакупленные» твоим отцом в моем девичестве ...’ (глагол *га-* ‘купить’ является переходным, поэтому аффикс

таком виде и фигурирующее в описательных грамматиках).

Как и во всех других тунгусо-маньчжурских языках, в негидальском существует три разряда глагольных слов: причастие, деепричастие и собственно глагол.

Негидальский язык радикально отличается от эвенкийского системой своих причастий, противопоставляющей личным причастиям безличные (термин «безличные причастия» мы употребляем вслед за В.А. Аврориным [Аврорин, 1961, с.66-67], другие авторы предпочитают пользоваться термином «пассивные причастия»).

Выражаемое личным причастием действие всегда мыслится в неразрывной связи с его субъектом – как конкретным, так и неопределенным, поэтому в формальном отношении личное причастие отличается от безличного потенциальной способностью присоединять субъектные показатели, а именно – притяжательные аффиксы (как личные, так и возвратные). В негидальском языке личные причастия имеют форму прошедшего (-*чā*) и будущего (-*жā*) времени; кроме того, есть причастие на -*йи* (< *-*ри*) , которое должно выражать настоящее время, и оно действительно его выражает, но при этом не замыкается в нем и способно также обозначать прошедшее. Приведем примеры употребления личных причастий в негидальском языке:

Хулэ̄йи эмэ-чэ̄-йи о̄жалий̄ Нунусинэн ‘Хулэги отправился по тому пути, по которому пришел’;

Эй бӣжан̄ эхим̄ гун-чэ̄-нин̄ амбан̄ ‘Это, наверно, черт, о котором говорила моя старшая сестра’;

Плэ̄-дэ̄ Нэнэ̄-йи-нин̄ эсин̄ ичэвэ̄ ‘Куда он ушел, не видно’;

Тэтивун̄ чопал̄ хуйантӣ хул-ли-н̄ ‘Одежда (его) вся такая, в которой (он) ходит в лес’;

Тай̄ асал̄ гун̄жэ̄тин̄: «Е̄-йи-си?» – Сӣ гундэ̄й: «Сэб̄жэ̄нмӣ эвӣ-йи-в» ‘Те женщины скажут: «Что делаешь?» – Ты ответь (скажи): «Веселясь, играю»’;

Бу-чэ̄ бэйэ̄ жэб̄-жэ̄-нин̄ обувāн̄ хан'анман̄ жэбуккэнэ̄ ‘Вместо того, чтобы ел умерший человек, кормят его ханян (душу)’;

Синэвэ̄ вā-жā̄ амбан̄ син̄жй̄ атан̄ улгучэнэ̄ ‘Черт, который тебя убьет, с тобой не будет разговаривать’.

Следует отметить, что в роли конечного предиката негидальские личные причастия употребляются сравнительно редко, отличаясь тем самым от личных причастий в тунгусо-маньчжурских языках Приамурского ареала, в частности, в нанайском и ульчском.

Особенностью конструкций типа *эхим̄ гун-чэ̄-нин̄ амбан̄* ‘черт, о котором говорила моя старшая сестра’ является то, что имя существительное, к которому относится причастие, обозначает объект (прямой или косвенный) выражаемого этим причастием действия, причем так бывает всегда, когда причастие оформлено притяжательными аффиксами. При отсутствии такой аффиксации у причастия-определения определяемое существительное

обозначает субъект действия, передаваемого причастием (*ва̄-ча̄ амбан* ‘убивший черт; черт, который убил’). Однако в негидальском языке возможен еще и третий вариант определительной конструкции с причастием: как и в первом случае определяемое обозначает объект, но причастие при этом не просто не имеет личных показателей – в зависимости от значения времени оно маркируется одним из показателей безличности, например: *õхин-да̄ э-пила ичэ-в-вэ бэйэ* ‘никогда не виданный человек’ (здесь даже два аффикса, указывающих на безличность: образующий безличное причастие прошедшего времени показатель *-пила* в отрицательном вспомогательном глаголе и аффикс *-в-* в главном компоненте отрицательной аналитической конструкции).

К пониманию сути безличных причастий пришел В.А. Аврорин, он же дал им это название. Отличие безличного причастия в нанайском языке от личного В.А. Аврорин разъясняет так: «... безличное причастие обозначает действие, не связанное с конкретным лицом или предметом как его субъектом... Субъект действия в этом случае не называется и даже не подразумевается ввиду его максимальной обобщенности, всеобщности. Отсутствие конкретизации субъекта означает, что и само действие представляется в обобщенном виде, неконкретизированным. Это не конкретный акт данного действия, совершаемого определенным предметом в определенный момент, а обобщенное представление о всяком вообще акте данного действия, безотносительно к тому, каким именно конкретным предметом и в какой именно конкретный момент он осуществляется» [Аврорин, 1961, с.67]. Таким образом, безличное причастие представляет передаваемое им действие безотносительно к его исполнителю (исполнителям). Это не обобщенно-личное значение и не бессубъектность или, вернее, бессубъектность, но не такая, которая свойственна, например, глаголам, обозначающим метеорологические явления. Можно сказать, что это условная бессубъектность глаголов, способных иметь субъект в принципе. Иначе говоря, безличные причастия представляют собой результат абстрагирования от субъектного значения глагольного слова. В языках, имеющих инфинитив (например, в русском), грамматическое абстрагирование в отношении категорий глагольного словоизменения идет еще дальше и касается, кроме субъектного значения, также временного. Безличные же причастия, в частности, в негидальском языке полностью сохраняют значение времени.

В настоящем времени безличное причастие имеет показатель *-ви*, в прошедшем – *-пила/-пила (-пила̄/-пила̄)*, в будущем – *-пи́йн* (в будущем времени безличное причастие встречается очень редко – у нас всего два таких примера). В образовании этих форм несомненно принял участие показатель пассива *-в- (-н(и)-)*. Дело в том, что морфологическое выражение пассивности действия и аффиксальное обозначение в этой же глагольной словоформе его субъекта (т.е. агенса) несовместимо в принципе, поскольку в результате перемены диатезы личные показатели глагола перестают обозначать субъект действия (агенс) и указывают на его объект (пациенс). Таким образом, пассив можно рассматривать как средство устранения в глагольной словоформе значения

субъекта действия, что и требуется для образования безличных причастий.

В результате деэтимологизации (опрощения) пассивный показатель в негидальских безличных причастиях уже совершенно таковым не воспринимается и это доказывается тем, что такие причастия способны управлять прямым дополнением. Таким образом, термин «пассивное причастие» является неприемлемым по отношению к тому, что мы вслед за В.А.Аврориным называем безличным причастием.

Приведем примеры употребления безличных причастий в негидальском языке:

1) безличное причастие настоящего времени:

Тэливэ нэктэйивээн ичэ-вви, бэйэвээн э-ти ичэ-в-вэ ‘Разложенную ею юколу **видно**, а саму ее (ее тело) **не видно**’ (в настоящем времени безличные причастия обычно имеют модальное значение, которому в переводе на русский язык соответствуют слова ‘можно’, ‘нельзя’, ‘следует’, ‘не следует’; эта модальность проявляется менее заметно, а то и вовсе отсутствует в том случае, когда причастие выступает в роли подлежащего или дополнения, уподобляясь при этом имени существительному, но сохраняя некоторые свои глагольные свойства, см. следующие три примера, иллюстрирующие употребление такого «причастного имени»);

Тай Жэпу-вви манаवвихин мэн мэндулāвэй Нунуйэ ‘Когда (если) **еда** (то, что едят) кончается, то друг к другу ходят’;

Агдиду Жэпу-вви оЖокит бичэн ‘При грозе **есть** запрет был (во время грозы нельзя было есть)’;

Ахинин тй Жэпу-вви-вэ эмэвсиктэйэн ‘Его старший брат так **еду** (то, что едят) приносит’;

*Нэлэмō! ЕнЖи би-вви эмукчэн?! ‘Стра-ашно! Как **жить** одной?!’* (подчеркнем, что глагол *бивви* ‘жить’ является непереходным, модальное значение у него здесь то ли приглушено, то ли его совсем нет);

2) безличное причастие прошедшего времени:

... талуЖи хевлайāн тай тиХэлтихи ичэнэчал. Тай тиХэл таНундулатин Жэпу-пила ‘... (зажженной) берестой осветив, пошли посмотреть на те посудыны (с едой). Из каждой той посудыны **было отведано** (кушанье)’;

Тай бэйэдуккэй сā-пила бунинкэнду бэйэ бисивээн ‘От того человека **было известно**, что на том свете (в мире мертвых) люди есть’;

Таду соксилэвэ эли-в-чи-пила и тийэвунмэ эли-в-чи-пила хēн'анин бисин еманала ‘Там на снегу есть след от **поставленных и стоявших** лыж, а также от **поставленной и стоявшей** лыжной палки’ (в переводе не удалось передать то, что пассивное причастие *еливчипила* определяет слово *хēн'анин* ‘след’);

Тай йхэ хуйу-ву-пила-тки гойо ‘В том котле давно не варили (букв.: тот котел **до варения** (в прошлом) далеко (давно)’;

3) безличное причастие будущего времени («неопределенное будущее» в очерке К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус [Мыльникова, Цинциус, 1931,

с.174]):

Тихэмдихэн эйэхи мэйгэйэн: «Ен^{жи} вā-пчэн бэйунэ?» ‘Затем лягушка соображала: «Как **убить** лося?»’;

Они нихэ-пчэн? ‘Как **поступить?**’.

В наших текстах нам не встречалось безличное причастие настоящего и будущего времени в роли определения, хотя это и не означает, что такое употребление невозможно. Подобных пробелов немало в наших представлениях о столь оригинальном грамматическом явлении, как безличные причастия. В частности, из-за крайне ограниченного числа примеров не вполне ясным остается функционирование безличного причастия будущего времени. Похоже на то, что оно неразрывно связано с вопросительными предложениями - оба примера именно таковы, но главный аргумент заключается в том, что гласный звук в аффиксе *-пчэн* краткий, т.е. в его составе «спрятан» показатель не простого будущего времени (*-жā-* с долгим гласным), а будущего вопросительного (*-жа-* с кратким гласным; о будущем вопросительном см. далее). При этом не имеет объяснения третий компонент этого составного аффикса, а именно *-н* — формально это показатель 3-его лица единственного числа, что никак не согласуется с безличным характером рассматриваемой формы. Кстати, необходимо отметить практикуемую нами нефонологическую запись звучания показателя безличного причастия прошедшего времени: *-пла* (*-пила*) — это то, как мы слышим его звучание, на самом же деле гласный в его составе теоретически долгий и должен подчиняться закону гармонии, т.е. выступать в двух вариантах (*-плā/-плē* или, соответственно, *-пилā/-пилē*), однако поскольку долгий *ē* в негидальском языке (особенно в низовском его диалекте) произносится близко к *а* (*ā*), то в наших записях показатель безличного причастия прошедшего времени представлен только в виде *-пла/-пила*.

В отдельных случаях безличное причастие имеет вполне определенное субъектное значение, например: ... *эйгэнмэ эмэвги^{жэн} — охин-дā э-ти бу-в-вэ эйгэнмэ* ‘... душу принесет — никогда не умирающую душу’. На первый взгляд, такой пример противоречит нашим представлениям о безличных причастиях. На самом же деле, по-видимому, причиной этой аномалии является то, что пассивное причастие образовано в данном случае от непереходного глагола. Чтобы подтвердить свое предположение, приведем два примера с формально безличными отрицательными аналитически выраженными причастиями с одинаковой морфологической структурой, у которых все отличие друг от друга сводится к тому, что первое образовано от основы переходного глагола, а второе — от основы непереходного (соответственно, первое является безличным и по форме, и по сути, второе же — только по форме):

... *эти-жи отили-в-ва-жи* *полахичāн* ‘... закричал так, что не было понятно (по-непонятному закричал)’;

Долбо-да эти-жи хуглэ-в-вэ-жи чо^нжийэн ‘И ночью, не смыкая глаз, клюет (букв.: не спя)’.

Другой вопрос – зачем язык создает себе такие сложности, когда все это можно было бы выразить иначе и без грамматических противоречий.

Категории безличных причастий, подобной негидальской, в эвенкийском языке нет (при том что в нем имеется «безлично-долженствовательное» причастие, о котором речь будет идти дальше) и это одно из существенных грамматических отличий негидальского языка от эвенкийского; нет таких причастий и в эвенском, хотя довольно часто какие-либо конкретные морфологические расхождения между негидальским и эвенкийским языками наблюдаются на фоне схождений в данном отношении с эвенским. В то же время безличные причастия представлены во всех остальных тунгусо-маньчжурских языках, за исключением разве что маньчжурского (в чжурчжэньском как будто было безличное причастие с показателем *-бу-р). Но если в нанайском и ульчском существует единый показатель безличности причастий (например, -(в)ори/-(в)ури для настоящего времени и -(в)охан/-(в)ухэн для прошедшего в нанайском языке), то в орокском, ороцком, удэгейском, а также в негидальском такого единообразия нет и значение безличности передается вместе со значением времени одной морфемой.

Справедливости ради надо сказать, что записывая эвенкийский фольклор от Н.И. Федоровой в селе Владимировка района имени Полины Осипенко Хабаровского края в 1981 году, мы не один раз могли убедиться в наличии в продиктованных нам текстах формы безличного причастия с показателем -ври; при этом модальная окраска этой формы такая же, как, например, и у соответствующего причастия в негидальском или нанайском языках (можно..., следует...). Возможно, такая форма, наличие которой вроде бы никем не отмечалось в эвенкийском языке, появилась под влиянием соседних приамурских тунгусо-маньчжурских языков (только непонятно, каких конкретно). Между тем эвенкийский язык, в частности, его полигусовский говор знает одну форму, несомненно являющуюся безличным причастием наподобие приамурских с тем только существенным отличием, что в эвенкийском она стоит изолированно, т.е. ей не противопоставлены по значению времени никакие иные формы. Приведем цитату из работы О.А.Константиновой: «Причастие с аффиксом -пк̄а обозначает долженствовательное действие как признак, приписываемый лицу или предмету; употребляется предикативно. Аффиксу этого причастия предшествует аффикс страдательно-возвратного залога -в. Примеры: КуҢак̄арвэ аямамат алагувупк̄а ‘Детей нужно учить очень хорошо’; Хурк̄экэн ам̄ак̄ав̄и симумат ичэтчэчэн, энк̄э ханҢуктавра бичэн ‘Мальчик молча смотрел на деда, спрашивать было нельзя’ [Константинова, 1964, с.145]. Самое интересное заключается в том, что без залогового показателя -в «причастие с аффиксом -пка может обозначать обычное действие как предикативный признак, приписываемый определенному лицу» [Константинова, 1964, с.145] (уточним при этом, что причастие на -пк̄а никогда не оформляется ни личными, ни возвратными аффиксами).

Негидальский аффикс *-пла/-пила*, оформляющий безличное причастие прошедшего времени, имеет соответствие в орокском языке (аффикс *-пула*). Т.И. Петрова называет это орокское причастие пассивным и отмечает, что оно может выступать в предложении только в «предикативной функции» (т.е. в роли сказуемого) [Петрова, 1967, с.103]. В более архаичном звучании и лишь в составе одной словоформы (отрицательного вспомогательного глагола) показатель рассматриваемого причастия употребляется в удэгейском языке (*э-птилэ*). Первым эту форму обнаружил Е.Р. Шнейдер и назвал ее пассивным причастием [Шнейдер, 1936, с.33]. В своей работе, посвященной именному словообразованию в тунгусо-маньчжурских языках, Б.В.Болдырев, основываясь, как можно понять, на этимологиях Г.И. Рамстедта, приходит к выводу о том, что «по своему происхождению производные с суффиксом *-птила* являются субстантивированными причастиями прошедшего времени, функционирование которых в современном эвенском и орокском языках отмечают исследователи» [Болдырев, 1987, с.122-123]. Рассматривая причастия эвенского языка, К.А. Новикова пишет: «Причастие прошедшего времени с аффиксом *-тла/-тлэ* означает действие, совершенное давно» [Новикова, 1980, с.108]. Судя по приводимым К.А. Новиковой примерам, причастие на *-тла* является личным, т.е. выражаемое им действие совершалось каким-то конкретным лицом, которое может быть обозначено лично-притяжательным аффиксом в составе причастной словоформы. Итак, негидальское безличное причастие прошедшего времени с аффиксом *-пла/-пила* (< **-птила*) имеет материальное соответствие и в эвенском языке (*-тла* < **-птила*), однако прямую семантическую аналогию (а не только материальную) можно найти ему лишь в орокском и удэгейском языках.

В негидальском языке насчитывается не менее 15 деепричастий. В целом они не так существенно отличаются от эвенкийских, как причастия. Тем не менее некоторым негидальским деепричастиям нам хотелось бы уделить внимание.

Деепричастие на *-ми* квалифицируется в эвенкийском языке как условно-временное, в негидальском же наряду с этим значением оно может выражать одновременность с главным действием, что сближает его с аналогичным по форме деепричастием в большей части других тунгусо-маньчжурских языков (например, в орокском, ульчском или нанайском). Напротив, то деепричастие, которое в негидальском языке принято считать одновременным (аффикс *-нахāн/-накāн*), может выражать действие, предшествующее главному. Проиллюстрируем сказанное:

Талӣ элӣ токсактами илэҢ мōвва бахачан. Тай мōвва хоҢнинахан йвчэҢ
 ‘Там и сям **бегая**, сухие деревья нашел. Те деревья **нарубив**, занес (домой)’.

Что касается деепричастия на *-ми*, то его не менее примечательной особенностью является эпизодическое употребление древней формы множественного числа, давно уже забытой всеми эвенкийскими диалектами, но сохранявшейся в языке арманских эвенов [Ришес, 1955, с.144]. Эту форму мы

зафиксировали в верховском диалекте негидальского языка в идиолекте А.П.Казарова, приведем почти все имеющиеся у нас примеры, иллюстрирующие употребление этой формы:

... *сагди њ-май* '... старыми став';

... *байан бэйэ чаку-п-май* ... '...много людей собравшись (если, когда соберутся), ...';

Чэлэгдэ-мэй хэтэкэспэтчэ эмэн бэгдижувэй 'Когда прыгают на одной ноге, то прыгают на одной ноге' (нам не удалось избежать тавтологии в переводе);

Кэкул элэ гойоду этэчэтин кэку-мэй, элэ боуалавай есидгичал бижэНэтин 'Кукушки уже давно перестали куковать, уже, вероятно, добрались до своей родины'.

Кроме арманского эвенского, подобная форма множественного числа деепричастия на *-ми* есть в ороческом (*-мају/-маи*) и удэгейском (*-мэй*), а также в нанайском (*-мāри*), ульчском (*-мари*) и орокском (*-мари*) языках.

Удивительно, что наличие столь интересной архаичной формы деепричастия не отмечалось в предшествующих работах по негидальскому языку – это лишний раз свидетельствует об исключительной ценности некоторых идиолектных особенностей при изучении и описании исчезающих языков с крайне ограниченным числом владеющих ими людей. Очевидно, в подобных условиях экстремального функционирования языка идиолектные данные в какой-то степени соответствуют по своей значимости диалектным в более крупных и «благополучных» языках. Можно предположить, что исчезающий язык, сжимаясь, как шагреновая кожа, сохраняет в идиолектах немногочисленных его носителей определенные черты уже прекративших свое существование диалектов.

В негидальском языке глагольным словом в роли обстоятельства образа действия может быть не только деепричастие с показателем *-нахан*, но также деепричастие на *-ми*; последнее нехарактерно для эвенкийского языка, в котором главная функция деепричастия на *-ми* – выражение условно-временных отношений [Певнов, 1980]. Наряду с этими двумя деепричастиями в качестве обстоятельства образа действия в негидальском языке выступает глагольное слово, оформленное адвербиализующим аффиксом *-нжи*, например:

Ненахин хукти-нжи эмэйгийэн 'Собака **бегом** вернулась';

Омнанкан гунми дэуи-нжи-да хуллэн, гэхуктами-да хуллэн, н'иткуккэл гунэ 'Омнанканы (человечки, якобы живущие на небе) **и летая** передвигаются, и пешком (букв.: бродя) передвигаются, маленькие (они), говорят';

Гэ бит н'ойма-нжи Нэнэмайа 'Ну, мы **подкрадываясь** давайте пойдём'.

При помощи показателя *-нжи* от универсальной вопросительной основы *ѐ-* в негидальском языке образовалось вопросительное слово *ѐнжи?* 'как?', например: *Ёнжи бивви эмукчэн?!* 'Как жить одной?!'

Аффикс *-нжи* может присоединяться также к атрибутивной форме на *-ди*: *биттади-нжи* 'по-нашему (например, говорить)', *нади-нжи* 'на местном (языке), в частности, по-негидальски (говорить)'.

Негидальский адвербиализующий аффикс *-н̄жи* имеет соответствие в эвенском языке: «Наречные афф. *-ч*, *-н'* являются в современном языке продуктивными. С их помощью при необходимости могут быть образованы новые наречия, как от прилагательных, так и от существительных, особенно от отглагольных с конечным аффиксальным *-н*, а также от некоторых глаголов» [Новикова, 1980, с.114]. Необходимо пояснить, что в данном случае эвенский аффикс *-н'* восходит к **-н̄жи*, где *-жи* служил показателем творительного падежа, присоединенным к номинализирующему показателю *-н*.

В негидальском употребляются два деепричастия предшествующего действия – одно из них, с аффиксом *-х̄ан̄*, встречается в низовском диалекте и имеет соответствие в эвенкийском языке (*-к̄ан̄им*); другое, оформленное показателем *-й̄ан̄*, обнаруживает явное, хотя и неполное соответствие в орочском (*-й̄а < -ра*), ульчском (*-ра*) и нанайском (*-р̄а*) языках. Вероятно, в низовском диалекте деепричастия на *-х̄ан̄* и на *-й̄ан̄* являются взаимозаменяемыми. Если говорить о происхождении аффикса *-й̄ан̄*, то элемент *-н* остается пока без объяснения, в то время как элемент *-й̄а* – несомненно восходит к аффиксу **-р̄а* (ср. ульчскую и нанайскую формы, особенно последнюю). Негидальский язык дает весьма оригинальную возможность убедиться в этимологической связи деепричастного аффикса *-й̄ан̄* с древней формой на *-ра*, рефлексy которой представлены в этом языке в некоторых собственно глагольных формах и в коннегативе формантом *-й̄а* с большим количеством фонетических вариантов (*-ва*, *-ка*, *-ма*, *-ҥа*, *-ла* и т.д.). Суть дела в том, что такой неправильный глагол как *би-* ‘быть’ вместо аффикса *-й̄э-* (< *-р̄э-*) присоединяет аффикс *-си-* (например, *би-си-н* ‘есть’, а не *би-й̄э-н*, *эсин би-си* ‘не есть’, а не *эсин би-й̄э*), что и определяет, какой должна быть деепричастная форма со значением предшествующего действия от основы *би-*. Язык следует в данном случае четкому алгоритму: «гласный удлиняется, *-н* присоединяется». В результате получается деепричастие *би-с̄ин̄*, которое мы обнаружили в записанных нами текстах, правда, в эмфатической форме, т.е. с расширением последнего гласного (*бис̄е̄н̄*).

Следует отметить, что не только деепричастный показатель *-й̄ан̄* осложнен «справа» элементом неизвестного происхождения (имеется в виду *-н*). Подобным наращением, только в виде элемента *-х̄ан̄*, отличаются некоторые другие формы: деепричастие на *-нах̄ан̄* (*-на + -х̄ан̄*), деепричастие предела (*-дала + -х̄ан̄ = -далах̄ан̄*), деепричастие на *-мдих̄ан̄* (*-мдин + -х̄ан̄ = -мдих̄ан̄*).

Из негидальских разносубъектных деепричастных форм обращает на себя внимание условно-временная с показателем *-й̄ихи-* (она характерна для низовского диалекта). Вместо указанного аффикса можно было бы ожидать *-й̄ахи-* (< **-раки-*, ср. эвенк. *-рак(и)-*), и это соответствовало бы показателю условно-временного деепричастия *-й̄аки-* в верховском диалекте. Известно, что эвенкийский показатель *-рак(и)-* образовался на базе все той же древней глагольной формы на *-ра*, которую мы упоминали в связи с этимологией

деепричастного показателя *-йāн*. Звучание же негидальского аффикса *-йихи-* невольно наводит на мысль о том, что он возник на основе причастного показателя *-йи* (< *-рй*). Такое объяснение нам казалось очевидным, однако сейчас мы бы предложили чисто фонетическое толкование: *-йихи-* восходит к *-йахи-*, при этом изменение гласного объясняется или регрессивной дистактной ассимиляцией (*-йахи-* > *-йихи-*, ср. например, усть-амгуньское *гилби* ‘имя’ < *гэлби*), или же прогрессивной аккомодацией, т.е. приспособительным сужением широкого гласного под влиянием среднеязычного согласного. Второй вариант представляется более обоснованным, хотя в принципе оба фактора могли действовать одновременно.

В негидальском языке выражение времени в собственно глаголе в сопоставлении с эвенкийским имеет весьма существенные отличия. При этом в обоих языках совпадает форма прошедшего времени (аффикс *-чā*), а также возникшая на основе причастия законченного действия с тем же показателем *-чā* аналитическая форма типа *омЮ-чō бисим* ‘(я) забыл’, обладающая перфектным значением, наличие которого было отмечено в негидальском языке К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.162].

Негидальское время на *-чā* (далее мы будем называть его простым прошедшим) может обозначать любое имевшее место в прошлом действие или состояние, в том числе и такое, которое непосредственно граничит с настоящим; в качестве примеров приведем два высказывания, адресованные нам, так что мы можем с полной уверенностью судить о временном значении, поскольку сами были свидетелями или участниками тех конкретных ситуаций:

Тигдэ-л-чē. Гэ ймайа! ‘Дождь пошел. А ну, давайте зайдем (в дом)!’;

Иду-ха бчан пропкан? Баха-чā-в, баха-чā-в. Марина, баха-чā-в ‘Куда же делась пробка (от бутылочки с лекарством)? Нашла, нашла. Марина, нашла’.

По-видимому, нет ограничений у негидальского простого прошедшего и в плане давности происходивших действий или имевших место состояний.

И простое прошедшее, и простое будущее (аффикс *-жā-*) происходят от соответствующих причастий, при этом показатели собственно глагольных форм и причастных не отличаются друг от друга по звучанию. Тем не менее одно формальное отличие между такими словоформами есть – оно заключается в звучании аффикса 3-его лица единственного числа, который находится после показателя времени в собственно глаголе и после показателя причастия, например: *баха-жā-н* ‘найдет’, но *баха-жā-нин* ‘который будет им найден’; *баха-чā-н* ‘(он) нашел’, но *баха-чā-нин* ‘который был им найден’.

Наряду с простым будущим временем в негидальском языке (по крайней мере, в низовском диалекте) есть ближайшее будущее. Оно образуется от личных форм общего времени (см. о нем дальше) путем добавления показателя *-л-* ~ *-ли-*, который следует непосредственно после глагольной основы, например: *жэпу-ли-м* ‘прямо сейчас съем’; *жэпу-л-лэ-н* ‘прямо сейчас

съест’; *Жэпу-л-лэ-вун* ‘прямо сейчас съедем’ (эксклюзивная форма).

Остальные формы ближайшего будущего, по-видимому, также существуют, но нам они в текстах не встретились. Приведем примеры употребления этого времени:

Би эси Жэпкитпэ бэрхэ-ли-м ‘Я сейчас еду **приготовлю**’;

Ичэткэн, су эсихисун тиккэ, мэнми вā-ли-м ‘Смотрите, если вы (птицы) не сядете (букв.: если вы не упадете), то (я) себя **немедленно убью**’;

Гэ тэ Жэмэ-тти тибгу-л-лэ-н мōвва ‘И правда, **вот-вот** повалит дерево’;

Амбан минэвэ Жэпу-л-лэ-н ‘Черт меня **вот-вот съест**’;

Нэхунин элэ тихи-л-лэ-н ‘Ее амбар уже **вот-вот упадет**’;

Гэ эйнэ Нду эдивэс уму-л-ла-вун, ичэнэхэл ‘Сегодня твоего мужа **похороним**, приди посмотреть’;

Эдис хан’анман этихэнмэ эйнэ Нду тукту-в-ги-л-лэ-вун ‘Ханян (т.е. душу) твоего мужа-медведя сегодня отправим в иной мир (букв.: поднимем, отправим наверх, на гору)’;

Би ууиски тукти Жэв, ин Нэктэвэ чихаснахан синэтки тибгу-л-ла-Жа-в ‘Я вверх поднимусь, черемухи, нарезая, **буду** тебе **бросать** (букв.: опускать, спускать)’.

Последний пример интересен тем, что в нем в словоформе *тибгу-л-ла-Жа-в* одновременно представлены показатели ближайшего и простого будущего (пока это единственный пример такого рода).

Негидальское ближайшее будущее является аналогом эвенкийского будущего-2, обозначающего в полигусовском говоре подкаменно-тунгусского диалекта «самое ближайшее по времени действие, которое осуществится непосредственно за моментом речи» [Константинова, 1964, с.173]. При этом О.А.Константинова приводит следующую парадигму спряжения глагола с основой *бака-* ‘найти’:

	единственное число	множественное число
1 лицо	<i>бака-дял-и-м</i>	<i>бака-дял-ла-в</i> (экскл.) <i>бака-дял-ла-п/т</i> (инкл.)
2 лицо	<i>бака-дял-и-нне</i>	<i>бака-дял-ла-с</i>
3 лицо	<i>бака-дял-ла-н</i>	<i>бака-дял-ла</i>

О.А.Константинова поясняет, что «в форме 3-го л. ед.ч. и во всех формах мн.ч. глагола помимо элемента *дял* имеется элемент *ра*, ассимилированный под влиянием предыдущего *л*» [Константинова, 1964, с.173].

Если в данной эвенкийской парадигме опустить сегмент *-дя-* (= *-Жа-*), являющийся по происхождению показателем несовершенного (или иначе

длительного) вида, то получившиеся в результате формы будут очень напоминать негидальское ближайшее будущее время. При этом совпадение грамматической семантики в обоих языках полное (ближайшее будущее).

Уникальной особенностью негидальского языка является наличие таких форм будущего времени, которые употребляются только в вопросительных предложениях. Мы бы назвали эти формы будущим вопросительным временем. Первыми их заметили К.М. Мыльникова и В.И. Цинциус: «Имеется также вопросительно-восклицательная форма будущего, которая образуется присоединением к суффиксу *-ǰa-* личных окончаний Praes. Indicat., напр.: *on wā-ǰa-m* ‘как мне убить?! Как убью?!’; *to ɣo-ǰa-p* ‘сядем?!’» [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.162].

Восклицательное значение у таких форм нам не встретилось – только вопросительное. Будущее вопросительное используется и в диалоге, и в монологе довольно часто, его личные формы выглядят так:

	единственное число	множественное число
1 лицо	<i>-ǰa-m</i>	<i>-ǰa-vun</i> (экскл.) <i>-ǰa-n</i> (инкл.)
2 лицо	<i>-ǰa-c</i>	<i>-ǰa-cun</i>
3 лицо	<i>-ǰa-n</i>	?

Примеры употребления форм будущего вопросительного:

ǰǰb-ǰ-m-ɥu ē-ǰa-m-ɥu? ‘Съесть мне или нет (букв.: **сьем ли не (сьем) ли**)?’;

Ėva ɨčǰ-ǰ-m emana oiodun? ‘Что **увиджу** на снегу?’;

On-ka ǰ-ǰ-m soɥoio? ‘Как же мне **не плакать**?’;

Minǰtki ǰmǰ-ǰ-c-ku? *Bi xutǰǰǰv ācin.* – *ǰa ǰmǰǰǰǰv biǰǰǰv* ‘Ко мне **придешь**? У меня ребенка (детей) нет. – Ну, приду, буду жить (у тебя)’;

Solaki, ėča, ǰlǰkin bi-ǰ-n? ‘Лиса, ну что, достаточно **будет** (держат хвост в проруби)’?’;

On bu n'ǰkǰ-ǰ-vun ǰtkǰva? ‘Как нам **поступить** с обычаем?’ (т.е. не нарушать же его – так мы поняли этот риторический вопрос; однако допускаем также возможность какого-то иного толкования)’;

ǰduk bit ǰkin bača-lǰi-tǰi-ǰa-n? ‘Теперь мы когда **встретимся**?’;

On ǰǰbi-ǰ-n? ‘Как **назовем** (рассказ)’?’;

Bu sunduk sǰdǰǰvay ǰǰǰǰǰǰvun ǰn su taǰu ǰun-ǰ-cun ‘Мы от вас хотим узнать, что (букв.: как) вы на это (букв.: то) **скажете**’;

«*Si ǰlǰǰǰ ǰǰnǰ-ǰ-c?*» *Kǰ ǰdǰǰǰ mǰǰǰǰǰǰǰ ǰunǰn:* «*Bi mǰǰtki ǰǰnǰǰǰǰǰv. Si-ǰǰǰ ǰlǰǰǰ ǰǰnǰ-ǰ-c?*» *Buiun mǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰunǰn:* «*Bi xuianti ǰǰnǰǰǰǰǰv*» ‘«Ты куда **пойдешь**?» Осетр, подумав, сказал: «Я в воду пойду. А ты куда **пойдешь**?» Лось, после того как подумал, сказал: «Я в лес пойду»’.

Последний пример иллюстрирует противопоставленность вопросительного будущего невопросительному: в первом случае гласный показателя краткий (*-ǰa-*), а во втором – долгий (*-ǰǰa-*). Кроме того, невопросительное (т.е. простое)

будущее присоединяет только лично-притяжательные аффиксы, так как по своему происхождению оно является причастием будущего времени.

Интересно, что в ненецком языке существует не будущее, а прошедшее вопросительное время: «суффикс -с используется только для обозначения прошедшего времени и преимущественно в вопросительных конструкциях» [Терещенко, 1947, с.189] (мы искренне благодарим Ю. Янхунена, а также А.Л. Мальчукова за идею сравнения с ненецким языком). Пока нам известны только два языка (негидальский и ненецкий), в которых значения времени и вопросительности неразрывно связаны в одной грамматической форме. В принципе аналогичные формы будущего вопросительного времени не чужды и эвенкийскому языку, но в нем они, по нашим наблюдениям, употребляются эпизодически и не являются обязательными при выражении вопроса, касающегося любого еще не совершенного действия или не наступившего состояния (кстати, в негидальском языке они обязательны лишь в низовском диалекте, в верховском же возможны исключения из этого правила).

Значительно более сложным является вопрос о формах времени, которое наши предшественники называли Praesens'ом (Perfectum 1) [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.162], настояще-прошедшим [Колесникова, Константинова, 1968, с.118], настоящим [Цинциус, 1982, с.24]. К.М. Мыльникова и В.И. Цинциус характеризуют это время следующим образом: «Praesens (Perfectum 1) показывает, что действие с е й ч а с происходит, произошло или произойдет» [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.162].

В «первом приближении», закрывая глаза на довольно редкие случаи употребления этих форм в значении будущего, можно было бы согласиться с названием «настояще-прошедшее». Более же точным и, по-видимому, отражающим сущность этой необычной категории, является предлагаемый нами по аналогии с общим числом, общим падежом или общим родом термин «общее время».

Специфика этого времени, как бы его ни называли, заключается не только в невозможности свести его семантику к какому-то единому общему значению, но и в отсутствии единого показателя времени, который присоединял бы к себе аффикс любого лица/числа (в первом лице единственного числа и во втором лице единственного и множественного значение времени выражается нулевой морфемой). Такой непоследовательный способ выражения грамматического значения явно нарушает принципы агглютинации и в целом совершенно нехарактерен для негидальского языка. Можно думать поэтому, что такого рода формы сами по себе вообще не выражают никакого временного значения и обретают его лишь в конкретном речевом употреблении. При этом главным регулятором конкретного речевого значения времени выступает лексическая семантика глагола и те формообразующие аффиксы, которые видоизменяют ее, а именно: показатели вида или, точнее, способа действия.

Прежде всего следует сказать, что глаголы состояния в общем времени ориентированы главным образом на план настоящего, например:

Еми *соҥо-с?* ‘Почему **плачешь?**’;

Би-дэ^а дэвэкив *сōмат энү-си-н* ‘И у меня (у медведя) нижняя часть спины (кости таза) очень **болит**’;

Эмэй^ан пу^жин ичэйэн: *тэжэмэ бэйун һуклэ-йэ-н* ‘Придя, (героиня сказки) пудин увидела: на самом деле лось (убитый) **лежит**’.

Однако бывает так, что глагол состояния в форме общего времени переводится на русский язык прошедшим временем:

Би *толки-чи-м тай жōдуккай самāн тэту мэҥдэн уҥтувундэнэкэн эмэйивэ^ан* ‘Я **увидел во сне**, что из того дома идет сюда шаман в полном облачении и бьет в бубен’.

Трудно себе представить, что глагол *толkit-* ‘видеть во сне’ может быть связан с настоящим временем – ведь это противоречит здравому смыслу, поскольку во время сна невозможно рассказывать о том, что видишь во сне.

Глаголы действия в зависимости от предельного или непредельного характера своей семантики обозначают соответственно либо настоящее, либо прошедшее время, например:

Солаки, эй ёда алди-с? ‘Лиса, зачем **тешешь?**’ (непредельный глагол – настоящее время);

Илэ^а Һэнэ-с? ‘Куда **идешь?**’ (непредельный глагол – настоящее время);

Таду ичэчэхинин: эмэн айа хонат эви-йэ-н ‘Тогда увидел: одна красивая девушка **играет (веселится, развлекается)**’ (непредельный глагол – настоящее время);

Би бэйунмэ вā-м ‘Я **лося убил**’ (предельный глагол – прошедшее время);

...бэйэл эвими этэ-йэ ‘...люди играть (веселиться, развлекаться) **перестали**’ (предельный глагол – прошедшее время);

Жўл гевуксава вā-йа, āхи-йги-йа амаски. Гэ тай гевуксаҥҥэй тэлгэ-йэ, улэлбэ^ан хуйу-в-вэ... ‘Две нерпы **убили, пристали** (к берегу) обратно. Ну, тех нерп **разделали**, мясо их **сварили**...’ (предельные глаголы – прошедшее время).

Однако с предельностью/непредельностью как регулятором конкретного значения общего времени в негидальском языке не все так просто. Иногда глагол имеет предельную семантику, но время явно настоящее и наоборот. Возможно, мы сталкиваемся в таких случаях с транспозицией времен. Приведем два примера:

Ева толки-чи-м? ‘Что (**я**) **видел** во сне?’ (глагол непредельный, но по логике вещей время должно быть прошедшим: человек спал, его разбудили и спрашивают, что он видел во сне);

Би элэ бу-дэ-мэ ‘Я уже **умираю**’ (глагол предельный, время должно быть прошедшим, однако по вполне понятным причинам говорящий никак не может быть уже умершим).

Надежными индикаторами конкретного значения общего времени являются некоторые показатели вида (способа действия). Например, вид начала действия (аффикс *-л-*) несовместим с настоящим временем. То же самое можно сказать о виде однопавленности и однократности действия с показателем *-син-*,

противопоставленный же ему по значению вид рассредоточенности и многократности действия (аффикс *-кта-*), наоборот, предопределяет значение настоящего времени и исключает значение прошедшего. Примеры:

Тай этихэн энү-л-лэ-н ‘Тот старик заболел’;

Жав э-л-лэ-н мӯси ‘Лодка-берестянка не стала пропускать воду’ (ср. *Тай Жав мӯ-си-н* ‘Та лодка пропускает воду’);

Плэ^а Нэнэс? Ойонмо-ву вайдай-ву мэйү-син-э-с? ‘Куда (ты) пошла (идешь)? Домашнего оленя что ли **убить задумала (решила)?**’;

Тай калэм гунэн: «*Би эхилкэн бисим. Эхиндулай нуну-син-э-м*» ‘Тот кит сказал: «У меня есть старшая сестра. К своей сестре (я обратно) **пошел**»’ (в действительности герой еще не пошел, но употребил форму со значением прошедшего времени аналогично тому, как это делают говорящие по-русски: «Ну, я пошел!»);

Тай нунучэтин амайлан мэ^ан бэйэдуй ойгиханэм тай бууаватин гэхуктайан, хэннэхэгдэ лэвэ-ктэ-йэ-н ‘После того как (они) ушли, снова стал таким, как был, по их земле ходит (туда-сюда), по колено **проваливается**’;

Тай Хулэги гунэн: «*Ёдэ тай ниткулбэ вай-кта-сун? ЭгдиНэвэ ваймай!*» ‘Тот Хулэги сказал: «Зачем тех маленьких (морских зверей) **убиваете?** Давайте убивать больших!»’.

Если бы в последнем примере словоформа *вай-кта-сун* ‘убиваете’ была без аффикса *-кта-*, то она, скорее всего, воспринималась бы в плане прошедшего времени:

Ёдэ тай ниткулбэ вай-сун? ‘Зачем тех маленьких **убили?**’ (хотя, конечно, в принципе здесь допустимо и настоящее время).

Конкретная реализация общего времени в негидальском языке зависит не только от некоторых глагольных видов (способов действия), но иногда и от значения субъекта. Так, в неопределенно-личных предложениях общее время всегда воспринимается как настоящее постоянное, например:

Ууу бэйэл хонилтин аргаНгал гун-э; ойонин-да асахилкан-да биЖан ‘Девушки людей верхнего мира (букв.: верхних людей) хитрые, **говорят**; и олени у них, вроде бы, с крыльями’.

Такая временная характеристика относится и к тем случаям, когда имеется в виду не конкретный субъект, а обобщенный, обозначающий название какого-либо класса предметов или живых существ:

Мунукан нуктилми гойоло ичэдэй амагда бэгдидуй ел-ла-н гогда одай ‘Когда заяц побежит, то чтобы далеко видеть, на задние лапы **встает**, чтобы стать выше’.

Если конкретная реализация общего времени в качестве прошедшего или настоящего во многих случаях обусловлена семантикой глагольной основы (а иногда и субъектным значением), то к относительно редко встречающемуся осмыслению общего времени как будущего такой критерий неприменим и ориентироваться приходится на более широкий контекст. Приведем примеры со значением будущего у форм общего времени:

Этикон гунэн: «**Бү-м, бү-м, хонатпи бү-м, эсим элөкитчэ**» ‘Старик сказал: «**Отдам, отдам**, свою дочь **отдам**, не обманываю»’;

«Делвас тилэмайа!» Анга гунэн: «**Ёва тилэ-сун?** Минду кумкэйэ **āчин**» ‘«В голове твоей поищем-ка (вшей)!» Анга сказала: «Что **будете искать?** У меня вшей нет»’;

Эйэхи гунэн: «Га эхай, **битта āчин** хутэлэ **ōн биžэп?**» Аси гунэн: «**Ёла баха-сё хутэвэ?**» ‘Лягушка сказала: «Сестра (старшая), мы без ребенка как будем жить?» Женщина сказала (на это): «Где **найдешь** ребенка?»’;

Тохёй, бэгдисёй, **žгди-сёй!** ‘Ло-оси, но-оги, **обожже-ете!**’

В эвенском языке также существует специфическое время, которое называют то настоящим [Цинциус, 1947, с.194; Лебедев, 1978, с.85; Роббек, 1989, с.67-68], то неопределенным [Новикова, 1980, с.68-70; Лебедев, 1982, с.86]. Предложив для эвенского языка термин «неопределенное время», К.А. Новикова пояснила, что «форма на **-ра-/-рэ-**» вообще не содержит в себе никакого временного значения и получает его главным образом лишь в контексте [Новикова, 1980, с.68] (к аналогичному выводу пришли и мы в отношении негидальских форм общего времени). Впервые же четкую характеристику своеобразным формам времени в эвенском языке дал В.Г. Богораз [Богораз, 1931, с.20-21].

Что касается эвенкийского языка, то в нем выражение настоящего времени прочно связано с наличием показателя вида незаконченного (длительного) действия **-жа-** (например: дуку-**жа-м** ‘пишу’, **тэжэ-чэ-рэ-н** ‘сидит’, **Һэнэ-žэ-рэ-в** ‘мы (эксклюзив) идем’). Если такой показатель отсутствует, то это почти всегда прошедшее время (исключения единичны: **сām** ‘знаю’, **айавум** ‘люблю’ и, возможно, какие-то еще [Горелова, 1979, с.39]). В эвенском языке в принципе действует такое же правило (эвен. **-д-** ~ **-жи-** = эвенк. **-жа-**), но оно не распространяется на отмеченные В.Г. Богоразом «многие случаи» соответствия формы без аффикса **-д-** ~ **-жи-** русскому настоящему времени. Интересно, что в этих самых случаях указанный аффикс может как отсутствовать, так и присутствовать. Например, в сказке, записанной К.А. Новиковой [Новикова, 1980, с.136-137], словоформы **һоһьри** и **һоһьжинри** имеют одно и то же значение ‘плачешь’. Итак, в эвенкийском языке показатель вида незаконченного (длительного) действия в словоформах со значением настоящего времени является за крайне редкими исключениями обязательным, в эвенском языке соответствующий показатель в подобных случаях нередко может отсутствовать, в негидальском же он отсутствует почти всегда. Как видим, эвенкийский и негидальский языки занимают в этом отношении крайние позиции, в то время как эвенский стоит между ними. Похоже на то, что в негидальском языке редко употребляющийся вид с показателем **-жа-** вряд ли является инновацией; скорее всего, инновацией следует считать утрату этим показателем его исключительно важной роли в видо-временной системе. Мы приведем несколько негидальских примеров, в которых словоформы с аффиксом **-жа-** очень напоминают соответствующие эвенкийские, причем контактная причина такого сходства здесь маловероятна, поскольку примеры

отражают речь не верховских, а низовских негидальцев:

*Эйэхи инэҢҢэн хул-**ᶑ**-йэ-н балоталдули ёлдули* ‘Лягушка каждый день **ходит** по болотам или где-то еще’;

*Есчāн делгандулан, ичэч^ан делигданин соҢо-**ᶑ**о-йо-н, бэйэҢин аҢила бисин* ‘Пришла на голос, увидела (что) только голова его **плачет**, тело (же) его в стороне находится’.

Своего рода «грамматической реминисценцией» является употребление видового показателя **-ᶑа-** в следующих двух предложениях:

*Тай асй таду кэптулэ-**ᶑ**-чэ^а-н* ‘Та женщина там **лежала**’;

*Тй̄н'эхэн уйкэтин н'йвчэ^ан. Асй хулэ^а-**ᶑ**-нэхэ^ан ичэтчэ^ан* ‘Потом их дверь открылась. Женщина лежала и смотрела (**лежа** смотрела)’.

Кстати, наличие в негидальском языке этого показателя было отмечено еще К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус: «Вставка суффикса **-за-** также указывает на длительность действия» [Мыльникова, Цинциус, 1931, с.175].

Негидальское общее время имеет типологическую параллель в ненецком языке. Согласно Н.М. Терещенко, в ненецком «формы неопределенного времени могут иметь значение и настоящего времени и прошедшего (чаще недавно-прошедшего), а в сочетании с показателем несовершенного вида – также и будущего времени» [Терещенко, 1947, с.184]. Особо следует подчеркнуть, что у ненецкого неопределенного времени нет специального показателя [Терещенко, 1947, с.187], и это отчасти находит соответствие в негидальском языке, где показатель общего времени отсутствует в первом лице единственного числа и во втором лице единственного и множественного.

Как видим, в изъявительном наклонении негидальского глагола отличия от эвенкийского языка весьма существенны. В сослагательном наклонении отличий от эвенкийского мы не обнаружили: его показатель **-мча-** является общим для обоих языков, причем долготу гласного мы не замечали в нем ни в эвенкийском, ни в негидальском. Что касается повелительного наклонения, то наиболее существенное отличие негидальского императива от эвенкийского заключается в наличии в первом из них особых и как будто синонимичных друг другу форм 2-ого лица множественного числа **-хан** и **-хасун**. Если последнюю можно возводить к ***-хал-сун**, то первая (т.е. **-хан**, а может быть, **-хāн**) пока не поддается этимологическому толкованию и стоит совершенно изолированно среди аналогичных по значению форм повеления в тунгусо-маньчжурских языках.

Глагольное отрицание в негидальском и эвенкийском выражается только аналитическим способом, при этом в обоих языках используется общая модель: отрицательное вспомогательное глагольное слово, состоящее из основы **э-**, к которой присоединяются словоизменительные аффиксы + главный компонент аналитической отрицательной конструкции или иначе – коннегатив, включающий глагольную основу с «пустым» словоизменительным аффиксом (в эвенкийском это, как правило, **-ра**, а в негидальском – **-йа**). В качестве

примеров такой конструкции приведем эвенкийское *Э-чэ-в сᄌ-ра* ‘не знаю’ и негидальское *Э-си-м сᄌ-йа* с тем же значением.

Негидальское глагольное отрицание отличается от эвенкийского наличием наряду с *э-* иных корней отрицательного вспомогательного глагольного слова (*ата-*, *у-*) и иных аффиксов, присоединяющихся к этим корням (*-ти*, *-хэн*, *-хэсун*, *-хул*, *-хусун*). Например:

негидальский язык	эвенкийский язык
<i>ата-м Нэнэ-йэ</i> ‘не пойду’	<i>э-тэ-м Нэнэ-рэ</i> ‘не пойду’
<i>у-хул Нэнэ-э (У-А)</i> ‘не ходи’	<i>э-кэл Нэнэ-рэ</i> ‘не ходи’
<i>у-хусун Нэнэ-э (У-А)</i> ‘не ходите’	<i>э-кэллу Нэнэ-рэ</i> ‘не ходите’
<i>э-хэн Нэнэ-йэ (Н)</i> ‘не ходите’	<i>э-кэллу Нэнэ-рэ</i> ‘не ходите’
<i>э-хэсун Нэнэ-йэ (Н)</i> ‘не ходите’	<i>э-кэллу Нэнэ-рэ</i> ‘не ходите’
<i>э-тй Нэнэ-йэ (Н)</i> ‘не идущий’	<i>э-сй (э-чэ) Нэнэ-рэ</i> ‘не идущий’

Примечание: Н – низовской диалект негидальского языка (но не усть-амгуньский его говор), У-А – усть-амгуньский говор низовского диалекта негидальского языка

Рассмотрим любопытный пример с отрицательным безличным причастием настоящего времени: *э-вви вᄌ-в-ва* ‘нельзя убивать; тот, которого нельзя убивать’. В этой конструкции безличный характер обозначаемого причастием действия выражен дважды: не только во вспомогательном отрицательном глагольном слове, но и в коннегативе (*вᄌ-в-ва* < **вᄌ-в-ра*). Приведем аналогичный пример с безличным причастием прошедшего времени: *э-пила ичэ-в-вэ* ‘тот, которого не видели, невиданный’.

Подобное дублирование (полное или частичное) бывает и в иных случаях, например: ... *ёва-да э-ти-л отил-ла-л* ‘... ничего не понимающие’; *Н'аНаккᄌн нуНатил э-ти-л сᄌ-йа-ᄃи-тин Нэнэчэн* ‘Тихонько, так, чтобы они не заметили (букв.: не узнали), ушел’.

Итак, в негидальском языке, точнее, в его низовском диалекте коннегатив может оформляться показателями числа, падежа и личного притяжания; при этом допустимо оформление, например, падежным показателем только коннегатива:

... *минду кайинчᄌн сᄌнэв ᄌхин-да э-ти мана-в-ва-ва* ‘...мне заплатил шубой, которая никогда не изнашивается (букв.: неизнашиваемой)’ (отрицательная аналитическая форма личного причастия выступает здесь в роли постпозитивного определения и потому склоняется, оформляясь в данном случае показателем винительного падежа).

В негидальском глагольном отрицании отчетливо проявляется то, что мы назвали бы аффиксальным супплетивизмом. При корневом супплетивизме разная материальная оболочка корней используется не для того, чтобы

различать их лексическое значение (которое полностью совпадает), а с целью выражения грамматического значения. Иначе говоря, при корневом супплетивизме лексика оказывается на службе у морфологии. Аффиксальный супплетивизм также предполагает различие материальных оболочек, но не корней, а аффиксов, имеющих единое значение; при этом такое различие служит для выражения как бы по совместительству какого-то иного грамматического значения. Обе разновидности супплетивизма вполне отвечают его определению как «уникального совмещения сем в означаемом нечленимого знака» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с.564]. С частичным аффиксальным супплетивизмом мы уже знакомы по приведенной нами характеристике негидальских притяжательных показателей 3-его лица единственного числа: аффиксы *-нин* и *-н* выражают указанное значение лица, а также посессивность, но первый из них употребляется только в именительном падеже, у второго же такого ограничения нет, поэтому он связан обычно с косвенными падежами. Мы также коснулись различия в функционировании показателей отложительного падежа *-дуккэй* и *-дукки*: оба они выражают значение отложительности, но отличаются друг от друга тем, что первый всегда употребляется в простом склонении, а второй – только в притяжательном. Таким образом, кроме основного значения, общего для супплетивных аффиксов, у каждого из них есть еще и свое особое, связанное с совершенно другой категорией.

Что касается аффиксального супплетивизма в негидальском глагольном отрицании, то здесь он проявляется не как частичный, а как полный. В одном случае речь идет о показателях личного причастия настоящего времени: если такое причастие выступает в утвердительном значении, то оно оформляется аффиксом *-йи* (к некоторым глагольным основам присоединяется аффикс *-си*), если же личное причастие настоящего времени употребляется с отрицанием, то его показателем является уже не *-йи* (*-си*), а *-ти* (*-ти̃?*), например: *сā-йи* ‘знающий’, но *э-ти сā-йа* ‘не знающий’. Заслуживает внимания то, что негидальский аффикс *-ти* имеет соответствие только в эвенском языке. Так, в ольском говоре ему корреспондирует элемент *-ти-* в составе отрицательной формы разновременного деепричастия (деепричастия предшествующего действия), например: *э-ти̃ж̃и ṓр* ‘не сделав’ (эту форму упоминает К.А. Новикова [Новикова, 1960, с.94]). Еще более убедительным является сравнение с аналогичным аффиксом в охотском диалекте эвенского языка: «В отрицательных формах причастия имеют те же аффиксы, что и в утвердительных формах, за исключением причастия настоящего времени на *-ри*, которое в отрицательной форме имеет аффикс *-ти*, ... например: *эти дукра* ‘не пишущий’, *этил дукра* ‘не пишущие’...» [Лебедев, 1982, с.115].

В целом же супплетивизм – как корневой, так и аффиксальный – противоречит агглютинативному строю негидальского языка и поэтому может рассматриваться в нем как явление исключительное.

Следует отметить специфику отрицательной формы будущего времени

негидальского глагола. Утвердительная форма будущего времени выражается в негидальском при помощи аффикса *-ǰā-*, будущее время в отрицательном вспомогательном глагольном слове некогда выражалось, как и в эвенкийском языке, аффиксом *-tā-* (в эвенкийском, например, будет *э-тā-м Ңэнэрэ* ‘не пойду’); однако в действительности негидальцы говорят не *этāм*, а *атам* (по крайней мере, мы так слышим). Причиной такого звукового изменения является, на наш взгляд, а-образное произнесение негидальцами долгого *ā* – находясь во втором слоге, он оказал ассимилирующее воздействие на краткий гласный *э* первого слога, в результате чего образовалась новая основа отрицательного вспомогательного глагольного слова *ата-* (аналогичное звуковое изменение свойственно также некоторым иным словам). Кроме негидальского языка, звуковое изменение **этā- > ата-* произошло также в орочском и удэгейском, где основа отрицательного вспомогательного глагольного слова в будущем времени звучит так же, как и в негидальском.

Возможно, обнаруженный нами в усть-амгуньском говоре низовского диалекта негидальского языка отрицательный вспомогательный глагол *ухул* (единственное число)/*ухусун* (множественное число) со значением повеления, обращенного ко второму лицу, свидетельствует об изначальном существовании специального прохибитивного глагольного корня *у-*. Впрочем, для усть-амгуньского говора характерна как прогрессивная, так и регрессивная дистактная ассимиляция гласных, т.е. форма *ухул* может восходить не только к **у-хэл*, но и к **э-хул*. Но и этими реконструкциями дело не ограничивается – можно предложить более правдоподобное объяснение происхождения усть-амгуньских прохибитивных форм *ухул* и *ухусун*. Причиной звуковых изменений была, вероятно, все-таки регрессивная дистактная ассимиляция гласных, только импульс ее исходил от гласного *у* в последнем (третьем) слоге вспомогательного прохибитивного глагола в форме множественного числа, т.е. **э-хэсун > ухусун* (ср. усть-амгуньское *тубгучэ* ‘уронил’ < **тибгучэ* < **тик-бу-чэ*); форма единственного числа *ухул* при таком объяснении должна была появиться в результате аналогического выравнивания: **эхэл > ухул* по аналогии с *ухусун*, которое восходит к **эхэсун*.

Сопоставительно-сравнительный анализ некоторых форм и категорий негидальской морфологии позволяет прийти к следующим предварительным выводам, касающимся отношения негидальского к наиболее ему близко родственным языкам:

1. Негидальский безусловно является самостоятельным языком, а не диалектом эвенкийского (как некогда думали) хотя бы потому, что морфологические различия между негидальским и эвенкийским, как показывает проведенное сопоставление, весьма существенны, при этом нередко расхождения не ограничиваются внешней, формальной стороной, но касаются содержания грамматических категорий, а иногда и самого их наличия или отсутствия. Если взять наугад любой из многочисленных эвенкийских диалектов и сопоставить

его (т.е. сравнить на предмет отличий) также с любым диалектом этого же языка, то количество и глубина их различий в морфологии должны быть, на наш взгляд, значительно меньше, чем между негидальским языком и эвенкийским в целом. Такой вывод для дилеммы «диалект или самостоятельный язык» является решающим, поскольку существенная дивергенция в морфологии (точнее сказать, в грамматике), по-видимому, намного важнее в этом вопросе, чем пусть даже не менее серьезная дивергенция в лексике и фонетике.

Если говорить о генетических отношениях, то ближе всего к негидальскому стоит эвенкийский, однако вряд ли первый из них произошел от второго. Скорее всего, оба они восходят к некоему уже не существующему языку, причем тот его диалект, от которого берет свое начало негидальский, принимал участие в формировании некоторых юго-западных эвенкийских диалектов (например, подкаменно-тунгусского) – именно к ним, как мы считаем, ведут от негидальского любопытные изоглоссы, обнаруживаемые пока главным образом в лексике. Сравнительно недавно, уже после прихода русского населения в Якутию, в результате значительного расширения территории проживания якутов началось впечатляющее по своим масштабам расселение тунгусов из Якутии на огромных пространствах Сибири и Дальнего Востока [см., например, Историко-этнографический атлас Сибири, с.8, 6, 7], в том числе, как мы думаем, и в районе среднего течения Амгуни, т.е. там, где жили и живут так называемые верховские негидальцы. Верховской диалект негидальского языка испытал и продолжает испытывать на себе очень сильное влияние диалектов, на которых говорят пришедшие из Якутии эвенки. Заимствования из эвенкийского охватывают все уровни негидальского в его западном («верховском») территориальном варианте. Таким образом, тесные генетические связи негидальского с эвенкийским нашли продолжение в интенсивном влиянии последнего на западный вариант негидальского, причем результативность такого воздействия многократно усиливается именно близким взаимным родством контактирующих языков.

2. Наличие каких-то конкретных морфологических различий (несоответствий) между негидальским и эвенкийским языками во многих случаях означает наличие соответствий в этом плане между негидальским и эвенским языками. В условиях не просто близкого взаимного родства этих трех языков, но и принадлежности их к одной и той же таксономической единице (к северной ветви тунгусо-маньчжурских языков) такая корреляция соответствий и несоответствий может свидетельствовать либо об инновационном характере эвенкийской морфологии в сравнении с негидальской и эвенской, либо о том, что а) эвенский подвергся влиянию негидальского, б) оба языка заимствовали друг у друга, в) оба они заимствовали из какого-то другого языка, г) негидальский подвергся влиянию эвенского. Есть факты, причем связанные не только с морфологией, которые свидетельствуют о том, что главной причиной сложившегося соотношения соответствий и несоответствий между тремя

указанными языками следует считать последнюю, т.е. заимствование из эвенского языка в негидальский (при этом нельзя исключать и все остальные варианты – в какой-то степени может быть истинным любой из них).

Вероятно, несколько веков назад этническая территория эвенов простиралась далеко на юг в сравнении с современной. В наше время, так же, как, по крайней мере, в XIX веке негидальцев и эвенов разделяли и продолжают разделять различные группы пришедших сравнительно поздно из Якутии эвенков. Среди эвенков Аяно-Майского района Хабаровского края особое внимание привлекают тоттинские, говорящие на диалекте с бесспорно эвенскими чертами, в том числе и в морфологии. Таким образом, очевидные следы эвенского языка остались в районе реки Мая на той территории, которая находится между современной южной границей проживания эвенов (Охотский район Хабаровского края) и этнической территорией негидальцев (район имени Полины Осипенко Хабаровского края); при этом следует, правда, отметить, что тоттинские эвенки жили все-таки намного ближе к эвенкам, чем к негидальцам. Возможность проживания эвенов несколько веков назад вплоть до бассейна Амура находит подтверждение в большом количестве разного рода изоглосс, связывающих эвенский не только с негидальским, но и с другими языками Приамурья, причем, прежде всего, с ороческим языком. На наш взгляд, весьма вероятно, что продвижение предков эвенов на север происходило именно из бассейна Амура откуда-то со стороны его левых притоков. В таком случае гипотетический южный «коридор», ориентированный с юго-запада на северо-восток вдоль западных склонов хребта Джугджур был первым звеном в постепенном продвижении предков эвенов на далекие северные территории.

3. При наличии каких-то конкретных морфологических различий (несоответствий) между негидальским языком, с одной стороны, эвенкийским и эвенским – с другой, нередко наблюдаются соответствия в этом плане негидальского в первую очередь с ороческим и удэгейским (о двух фонетических изоглоссах, связывающих эти три языка, писала В.И. Цинциус [Цинциус, 1982, с.19]), а также с ороким, ульским и нанайским. Вероятно, такое соотношение соответствий и несоответствий имеет также контактную причину, при этом, скорее всего, язык типа ороцкого выступал по отношению к негидальскому в качестве субстрата (пока мы не обнаружили свидетельств ульского и нанайского существенного влияния на негидальскую морфологию, поэтому контакты негидальского с ульским и нанайским языками следует считать сравнительно поздними и весьма поверхностными). Итак, на левых притоках Нижнего Амура некогда могли локализоваться языки, которые были предками современных ороцкого, эвенского и негидальского. Не исключено, что прилегающие с запада к Нижнему Амуру территории относились к северному ареалу прародины тунгусо-маньчжурских языков. Впрочем, все эти безусловно предварительные выводы требуют проверки на лексическом и фонетическом материале, что мы и планируем осуществить в будущем.